



Вадим
Фадин

Девочка
на шаре

Вадим Фадин
Девочка на шаре (сборник)

«Алетейя»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Фадин В. И.

Девочка на шаре (сборник) / В. И. Фадин — «Алетейя», 2018

ISBN 978-5-907030-33-6

Поэт и романист Вадим Фадин и сам затрудняется определить жанр большинства вещей, собранных в настоящей книге: иные из них – одновременно и рассказы, и притчи, и эссе. Критик Александр Люсый однажды определил так: исходы. В самом деле, персонажи Фадина постоянно ищут места, где можно вообразить себя свободными. Такого места, однако, не найти и на шаре. С этими не совсем привычными произведениями органично соседствуют и вполне реалистический очерк о собаке, и эссе о литературе.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-907030-33-6

© Фадин В. И., 2018

© Алетейя, 2018

Содержание

«Как необычно зренье поутру...»	6
Автопортреты:	7
с музой	7
с понятыми	14
берлинские	18
Автопортрет в день рождения	18
Автопортрет на империале	19
Автопортрет в маске	21
Автопортрет без собаки	22
Автопортрет в оконной раме	23
без музыки, но в музее	26
мой, но – другого человека	29
Пейзаж в окне напротив	32
Ночная жизнь Китежа	38
Девушка в витрине	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Вадим Иванович Фадин

Девочка на шаре

© В. И. Фадин, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

* * *

«Как необычно зренье поутру...»

Как необычно зренье поутру!
Мне детский мяч – планета небольшая;
там девочка затеяла игру,
пытаясь устоять на шаре.

Ей стоило качнуться лишь слегка —
и начал шар неверное движенье.
Не задержу его – скользнёт рука,
не догоню (смешное положение),

в песке увязну: экая напасть!
А мяч – в пути, неровными кругами.
Она ж – довольна. Чтобы не упасть,
переступает цепкими ногами

по шару, глобусу, по маленькой Земле,
встаёт босой стопой, не разрушая,
на горы, крыши, куклу на столе,
на девочку, стоящую на шаре.

Автопортреты:

«Автопортрет редко бывает удачен, ибо в выражении глаз всегда остаётся напряжённость: гипноз зеркала, без которого не обойтись.»

В. Набоков

с музой

Больные своей работой писатели склонны при обострении недуга скрываться от семей. Ещё не так давно им охотно шли навстречу, и в особых домах, где они находили приют, всякому беглецу предоставлялась комната с двумя спальными местами – на случай, если того посетит муза; именно так, убого трепля её имя, пытались шутить многие из попавших в убежище впервые – вот и я оскормился в своё время, да и позже повторялся не раз, не смущаясь банальностью мысли. В каждой шутке есть доля шутки, но каждая – должна восприниматься всерьёз.

Долгое уединение в ожидании упомянутой девы приводит к частому общению с зеркалами, и постояльцы в писательских приютах настолько не стеснялись своих отражений, что почти неизбежно приходили к мысли сохранить оные для потомков.

Пиша автопортрет, художник начинает с себя. Муза, даже сидящая на коленях, и, тем более, фон обречены дожидаться очереди, и всё же та и другой определяют позу самого автора; для писателя верная – за письменным столом. С этого предмета и начнём.

Удобнее прочих мне казались столы приюта в Дубулты – такие обширные, что редкий писатель успевал захлестнуть их за отведённый ему месяц: для работы обычно хватало какой – нибудь шестой доли их суши, и была особенная прелесть в мечтаниях о путешествии в остающиеся неведомыми уголки; что же касается писательского портрета, то вряд ли кто – нибудь мог придумать для него лучший антураж: над внушительными плоскостями этих столов пристойно выглядели и самые заурядные лица.

Автопортрет – трудный жанр. С одной стороны, прообраз находится под рукой, и если память растеряла какие – то мелочи, то всегда можно обратиться к первоисточнику; в то же время здесь не обойтись без зеркала, а в нём, как известно, правая сторона видится левой – и наоборот; перепутав их, можно ненароком солгать. В дубултских комнатах трюмо стояли рядом со столами, и при взгляде чуть сбоку стекло, я помню, отражало мои раскрытые тетради, а дальше – окно и стены; лишь подоконник мешал включить сюда ещё и море. Выходило, что для меня портрет в интерьере являлся вдобавок и портретом в пейзаже, и это было справедливо, оттого что смолоду только в этих соснах, на этом берегу я мог быть самым собою; красоты природы не сыграли тут решающей роли – скорее, дело было в атмосфере, мало осквернённой большевизмом, от которого в России давно не дышалось. Впервые попав под Ригу ещё мальчиком, я разглядел, конечно, всего лишь новую страну со скромной долей экзотики, но позже, взрослея, мало – помалу стал слышать здесь несравненный запах свободы; чем больше я в ней нуждался, тем лучше и слышал, тем сильнее рвался в эти края – вдохнуть. Только постепенно, вследствие частых моих маленьких эмиграций сюда, мне стала близка и здешняя природа, и я так сросся с её родным обрамлением, что и местные жители нередко обманывались, принимая меня за своего: возможно, за много лет черты лица изменились сообразно картинам местности. Между тем, моих друзей это влияние не коснулось, вот и муза оказалась девушкой русской, без поправок, и я опасался, что попади она в эти места одна, над нею непременно учинилось бы какое – нибудь хулиганство.

Впрочем, будем соблюдать порядок: мы договаривались прежде фона прописать лицо автора (я выбрал внешность, присущую тому в начале восьмидесятых). Рассматривая его, как

решено, над столом, полезно попробовать поменять так и этак освещение: может статься, следы улыбок и огорчений лучше проявятся при свете не рабочей лампы, а скупого светильника в пивной: дело в заведённом обыкновении в первый же по приезде на новое место день, пока ещё не начата работа, наведываться в ближайшее питейное заведение, где за долгой кружкой легко разговориться с кем угодно и так узнать, чем нынче жив местный народ. В Дубулты, правда, этот опыт мог бы сорваться, оттого что в собеседники вполне могли попасть отдыхающие из санатория, настроенные, как правило, против здешних жителей, языка и климата; но в этот раз за моим столом сидели пусть и русские, но уроженцы этих мест – строительный рабочий и врач. С доктором мне не понадобилось даже начальной пристрелки: мы ненароком взяли одну и ту же ноту обиды за свою принадлежность к оккупантам – став соучастниками в грязном деле, мы не знали, как выйти из шайки.

Разговаривая негромко, мы всё же привлекли внимание проходившего мимо парня. Молча прослушав изрядную часть нашего диалога, он наконец попросил спички – по – латышски. Врач протянул ему коробок – с латышским же «пожалуйста». Парень ушёл – мы и не посмотрели, куда, – а через несколько минут официант поставил на наш стол неожиданный (мы ещё не осушили свои) кувшин пива.

– Это вам от латышей, – сказал он.

Опыты со светом оказались успешными: в полумраке зала, усугублённом чернотой дубовой мебели, лицо, по контрасту, обозначилось отчётливо, неосвещённый же фон содержал, видимо, подробности, каких до сих пор не удавалось найти в безысходной столичной жизни. Теперь я был готов к неожиданностям, в том числе и ко встрече с музой. Она не заставила себя ждать.

Как известно, чтобы встретиться с соседом, лучше всего отъехать от дома подальше. Так теперь вышло и у нас с Музой. В Москве я соскучился по ней, москвичке, впадал в панику, воображая, что забываю её, и даже не раз ловил себя на неспособности вспомнить какие – то её черты (тем более, что автопортрет с нею ещё не был написан), а тут от прибытия поезда до нашей встречи прошло всего несколько часов, словно мы сговорились загодя. Муза буквально столкнулась со мной на тротуаре, едва я распрощался с врачом; разговор с ним был настолько свеж, что невольно мелькнула мысль об ещё одной соучастнице.

– Ты нисколько не изменилась, – неловко начал я.

Она и в самом деле выглядела юной, как и несколько лет назад.

Я не стал выяснять, ради кого она приехала на взморье: не хотелось знать о своих соперниках и не хотелось ничего более – да иного и не оставалось, – кроме как пригласить Музу к себе; при этом я предвидел трудности, каких не умел обходить.

В дубултском доме я ожидал соседства с давно знакомыми людьми, в том числе и с такими, с кем знался домами; трудно было решить, как лучше представить им Музу – кузиною, секретарём, но только не женою, оттого что их не могло быть две, и не музою, оттого что это состояние тут обыкновенно не называли вслух – кто из застенчивости, а кто и из суеверия. Она, умница, всё поняла раньше меня и, упреждая, заявила, что станет приходить по ночам, когда я работаю.

– Но сейчас ты не откажешься от прогулки? – с надеждой спросил я. – Вдоль моря?

Никто из знакомых не встретился на берегу. Линия прибоя казалась бесконечной, неожиданные препятствия вроде моста, поворота дороги или винного магазина не могли бы тут сбить с мысли или заставить оборвать на полуслове тираду, и меня поэтому не только не тянуло отделиться в разговоре междометиями, но приятно было следить, как слова во множестве сцепляются между собою, складываясь в протяжные, как кромка моря, цепочки, достойные даже и высокого содержания и рассмотрения их отвне души, что – то вроде: «Чудак, занимающийся не своею душой, а моею, увы, никогда, никогда уподоблен не будет Матфею, хотя может быть и печальней того, и, что важно, правее...»

Продрогнув на ноябрьском ветру, Муза не стала дожидаться ночи, а так и осталась со мной, войдя в дом налегке, как минутная гостья, и не вызвав подозрений.

Мы сразу же спустились в бар пить кофе. Точнее, я пошёл первым, чтобы по пути позвонить домой, а она задержалась у зеркала – работать над образом.

Жена не замедлила выговорить за поздний звонок, хотя и сама понимала, что мне прежде следовало осмотреться, чтобы нашлось, о чём рассказывать на второй после прощания день. Я начал с восторженных похвал рабочему месту; впечатление от пивной осталось при мне. Жену более интересовали размеры не стола, а комнаты; я ответил уклончиво, но это не помогло.

– Что, если я приеду на праздники? – предложила она.

До красной даты оставалось меньше недели.

– Это же обычный двухдневный уик – энд, – осторожно возразил я, думая, как это непорядочно: даже не дав мне прийти в себя, снова сбивать с темпа.

– Тебе, по крайней мере, будет с кем выпить.

– Вот уж с чем не бывает проблем, – засмеялся я, оставив за скобками своё отношение к этим так называемым праздникам. – В крайнем случае всегда можно выпить с Музой.

– Жди, когда она тебя посетит.

– Ты не поверишь, но она тут как тут. Непроста же я так рвался сюда. Вообще, мне всё здесь по душе, и тянет написать и то, и другое, и я уже видеть не могу чистой бумаги: так и хочется марать её, не разгибаясь.

На время визита жены мне пришлось бы разогнуться, но она сделала вид, что не поняла намёка:

– Не ревную я к твоей музе, не бойся.

– Две женщины не уживаются в одном доме.

Разговор закончился на неопределённой ноте.

В баре я оказался единственным посетителем и, оглядевшись, выбрал столик под барельефом Моисея (не под Авиценной же было садиться), откуда через стеклянную стену можно было видеть свою лоджию на втором этаже: мне хотелось, чтобы туда вышла Муза – я сделал бы ей знак, ненужный, конечно, но вместо этого мне пришлось обернуться на стук её каблучков и просто встать навстречу.

Кофе нам сварила красивая молодая женщина, приятно полная. «Эх, не будь здесь Музы...», – начал я, но не стал додумывать до конца.

– Позвонил? – небрежно поинтересовалась подруга.

– И получил пренеприятное известие: она грозитя приехать.

– А как же я? – простодушно воскликнула Муза.

– Представь, я задал Розе этот же самый вопрос. Она пообещала не спугнуть тебя.

– Мило с её стороны.

«Увы, никогда, никогда уподоблен не будет Матфею», – с сожалением думал я, глядя, как за окном шевелится под ветром трава, и начиная сомневаться во времени года – ноябрь ли стоит на дворе. До снега, видимо, было далеко, и пейзаж радовал летними, хотя и приглушёнными красками – зелёной, голубой и жёлтой, – положенными, соответственно, на хвою, небо и стволы сосен. Этот вид был ещё не лучшим, мне больше нравился открывавшийся от двери моего номера: коридор сразу за нею заканчивался стеклянным торцом и казалось, что, сделав лишний шаг, можно ступить на берег – на верхушку невысокой дюны; в пределах зрения была композиция из песка, нагого дерева и прибоя. Безлюдный берег я, наверно, мог бы наблюдать вечно, равно как и то, что видел сейчас из бара – поросший блёклой травой бугор. Мой стол был пока недосыгаем, только я не бездействовал и здесь, за кофе, пусть приземлившись и пустив корни, но мыслью оставаясь в вольном просторе, не знаящем смены сезонов, а то и столетий – вопреки мнению о пресловутом спиральном движении человечества с узнаванием повторяющихся вертикалей. «С земли хорошо различимы витки бесподобной спирали, –

проговорил я в том же ритме, что и у моря, – какой – то пружины, чьи кольца пространство души распирала...»

– Кого я вижу!

Как я и предполагал, в доме писателей неизбежны были встречи. Первый же из его обитателей оказался моим знакомым – детективщиком Матвеем («Уподоблен не будет Матфею», – решил я).

– Моя помощница, – представил я Музу, не солгав.

Присутствие девушки Матвей воспринял как должное.

– Когда – то писатели ходили в этот бар пить коньяк, – мрачно заметил он, втискивая за стол своё грузное тело.

– Странные времена, – согласился я и хотел было развить тему сухого закона, но спохватился: – Пойдём ко мне, выпьем за встречу. Как можно догадаться, я привёз кое – что.

Но он не пил во время работы. Мне это было понятно, я и сам противно трезвел от первой же рюмки, по меньшей мере до утра выпадая из того неверного состояния, какое способствует нашему труду. Меняя разговор, он задал вопрос невпопад – о семье. Секретов от музыки у меня не водилось, но мой пространственный ответ причинил бы ей неудобство. Матвей и сам понял это, быстро перебив себя комплиментом Анечке – мастерице варить кофе.

– А ведь, сдаётся, не женское это дело, – продолжил он о кофе-варстве. – Есть что – то незавершённое в этой мизансцене – женщина перед огнём... А хочешь, я подарю тебе, по случаю приезда, тему? Женщина под дождём! Сам бы написал, да не мой жанр.

– Кошка под дождём уже была, – напомнил я.

– Так то – кошка.

– Под дождём – подождём, – найдя плохо спрятанную рифму, я вспомнил давно сочинённое: – Оставьте книгу мокнуть под дождём!

– Экий ты, право, варвар.

– Каюсь...

– И он туда же! Что за мода пошла болтать о покаянии, тогда как всякая мода – это словесность и ложь? Достаточно было выйти фильму, который никто так и не увидел, как его уже цитируют! Да ведь и сама мода – не на покаяние как таковое, а всего лишь на название картины.

– А не могло быть, – остановил его я, ощутив острое желание защитить сразу всех, – не могло ли так быть, что каждый созрел для осознания своей вины или доли в общей вине, и достаточно стало одной капли, намёка, чтобы начался обвал? Хотя, честно говоря, идея общей вины мне не по душе – оттого, что я имею наглость не считать себя частичкой общей массы.

– Это довод только для бесед с самим собой, – махнул рукой Матвей. – Вот, кстати – Бог с нею, с женщиной под дождём, – дарю ещё одну тему: составь книгу из писем самому себе. И ответов на них. В такую вещь вместишь даже больше, чем в дневник.

Мой автопортрет – не сродни ли он такой книге? Я глянул на музу, и она кивнула.

Первое письмо себе я решил написать в тот же вечер, хотя и понимал, что лучше всё же было бы позвонить.

В комнате я начал с того, что подошёл к зеркалу. С лицом, увиденным там, не стоило и пытаться изображать кающегося грешника; любой посторонний скорее нашёл бы, что я тоскую по прежним грехам. К тому же и с композицией тут обстояло непросто: центральной фигуре пристало либо пасть ниц, либо прятать, в пароксизме раскаяния, лицо в ладонях – но как, скрыв таким образом черты, передать сходство? Для этого надо быть мастером. Мне же больше нравился первоначальный замысел – человек за огромным столом. В обоих случаях, правда, не находилось места для музыки (позу Саскии я отверг как избитую), – мне словно намекали на необязательность видимого её присутствия; невидимого же я ожидал вдоволь, во всяком слове или мазке.

В другой обстановке я бы долго мучился, выбирая, теперь же особенно не раздумывал, да и Муза помогла подсказкою, и принялся за дело, не представив толком, как будет выглядеть готовое изделие, а записывая подряд всё приходящее в голову – в надежде разобраться после. Наверно, никто другой не сумел бы лучше использовать отведённое время: до приезда жены мне удалось сделать то, на что в другой раз ушёл бы месяц, и всё ж она приехала некстати: мой запал ещё не иссяк, и до естественного перерыва в работе было далеко.

День приезда Розы пропал для письма целиком. Встав ни свет, ни заря, я собирался заняться делом до завтрака, но беспокоился отсутствием музыки; я не нашёл её ни в доме, ни у моря. Берег был, как всегда, безлюден, только вдалеке, на пределе распознавания, угадывалась расхристанная фигура, вполне способная оказаться Матвеем; тотчас выяснилось, что фигура не одинока, из – за неё выдвинулся кто – то поменьше, и я возомнил, что узнал Музу. Сам виновный во всём, ибо кому, как не мужу, пристало справляться с женою, я почувствовал себя неважно. Отвернувшись, я увидел в противоположной стороне ещё одну пару, снова опознав Музу, и понял, что отсюда надо уходить.

Добираясь потом до вокзала, я всё придумывал оправдания, утешения и способы извлечь пользу из нового положения; единственным, что нашлось светлого, была возможность без лишних потерь посвятить воскресный вечер органному концерту. Радость от этого вышла, однако, слабая.

В первую ночь, едва Роза уснула, я тихонько выбрался из постели и сел за стол, хотя и знал, что так, с налёту, не напишется ни строчки: мне всегда требовалось, разогреваясь, подолгу просиживать над чистой страницей, прежде чем находилось что писать; нынешнее же настроение и подавно никто не назвал бы рабочим. Внутренний голос советовал не тратить время попусту, но я упрямылся – и, не просидев и десяти минут, услышал, как кто – то поскрёбся в стекло. Первая отгадка – синичка! – была простой и неверной: птицы спали, ночных же будто бы не предполагалось в здешних краях. Пришлось встать и открыть балконную дверь. В комнату проскользнула Муза. Я нервно оглянулся на жену – она не шевельнулась; чтобы не разбудить её, пришлось надолго отложить выяснение того, как девушка очутилась в лоджии – не сидела же она там весь вечер, – а лишь пробормотать под нос что – то об опасности любительского скалолазания.

– Посижу у тебя, – шепнула девушка, устраиваясь в кресле.

Внезапно я успокоился. Убеждённость в том, что письмо при гостях – пустая затея, пропала вместе с опасением, что проснётся жена; устроившись на рабочем месте, мне ничего не оставалось как что – то написать, чтобы глаза не раздражала пустая бумага, и первые слова, сменяя на пробу друг друга, затолкались в голове. Радость по этому поводу оказалась преждевременной, потому что меня скоро сморил сон – так скоро, что не удалось дойти до постели, а просто – уронить голову на исписанный лист (что – то всё же сумело там написаться). Сон длился, наверно, всего несколько минут, но за это время Муза успела уйти. Прочтя написанное под её немую диктовку, я сказал себе, что теперь заслуживаю и сна в постели.

Нужно было надеяться, что Муза сумеет прийти и следующей ночью; так и вышло, но она перестаралась.

Мы с женой лежали ещё обнявшись, ещё только возвращались, каждый – своим путём, в будничную обстановку комнаты, как я услышал, что к нам скребутся – на сей раз в дверь.

– Что это? – сонно пробормотала Роза.

– Кошка тут бродит. Под дождём.

Наверно, мы говорили достаточно громко, чтобы нас услышали в коридоре – во всяком случае, там перестали скрестись. Всё сошло бы гладко, как накануне, если б я не забыл запереться на ключ. Едва жена ушла в ванную, как входная дверь скрипнула, и в проёме показалась Муза – в шубке, в пуховом платке. Мне было от чего прийти в ужас, и я чуть не замахал на девушку руками, но, встретив её спокойный взгляд, только вздохнул. Сняв сапоги, она забра-

лась с ногами в кресло; к тому времени я успел натянуть джинсы, но не был уверен, что Роза выйдет в халате.

– Полночи шлялась по пляжу: тянула время, – пожаловалась Муза. – Ноги заоченели – как ледышки. Зато принесла тебе в подарок свечу. Она горела в песке, у самой воды.

Я стал греть её ступни в своих руках; когда – то, в школьные годы, на катке часто приходилось таким манером согреть озябших подружек. За этим занятием и застала меня Роза.

– Оригинальный сюжет, – заметила она, остановившись на пороге; халат на ней был, но застёгивать его Роза сочла излишним.

– Вечный мой соавтор, – продекламировал я, представляя ей Музу если и не помощницей, то товарищем по несчастью – и нисколько не покривив душой.

– Надо думать, и главный твой герой? – ехидно продолжила цитату жена.

Девушка зябко поёжилась, и Роза заметила это.

– Не хотите ли чаю? – предложила она, ещё не понимая своеобразия своего туалета.

Муза покосилась на хорошо ей знакомую китайскую заварную кружку с крышечкой.

– Я вскипячу, – назвал я.

– Хотелось бы лечь, – протянула жена, обратив, наконец, внимание на своё дезабилье, но не принимая запоздалых мер.

– Такой ветер у моря, – пожаловалась Муза, деликатно отворачиваясь.

– Я читала что – нибудь ваше? – вежливо поинтересовалась жена, уже со своего законного места в постели.

– Если она – вечный мой соавтор... – постарался я свести всё будто бы к шутке.

– Но я впервые слышу, что ты...

– Возле «Перле» пьяные устроили танцы в воде, – продолжила Муза. – Языческое буйство, притягательное и страшное.

– Без стриптиза, надеюсь?

– Что – то было похожее прежде, в течение веков, – пришла в голову строчка, и я взял карандаш. – Кажется, мне придётся поработать часок.

– С соавтором?

– Не помешаю, – произнесла Муза, не ставя ни чёткого знака вопроса, ни точки.

– Жаль, что я не догадалась тоже уйти к морю, – произнесла Роза с возросшей едкостью. –

Одна! Ночью! Было бы что вспомнить.

– Не всё потеряно, – огрызнулся я, возясь с кипятильником.

– Какая наглость!

– Почему же? Если тебе хочется...

– Хочется? Танцевать голой в воде, чтобы ты потом растирал мне ноги? Теперь ясно, отчего ты с таким удовольствием едешь сюда в самое непотребное время, в слякоть...

Погода стояла сухая и ясная, а слякотью мучились как раз в Москве, но я не возразил: развивая тему, не избежать было упоминания о прежних свиданиях с музой.

Наверху, в комнате Матвея, слышались шаги. Он не признавал домашних тапочек и вечно стучал каблуками у меня над головой, безумно раздражая не самим звуком, вполне безобидным, а именно непривычкою менять обувь.

– Выхаживает интригу, – неприязненно заметил я, утверждаясь в мысли, что нет, не будет уподоблен. – Лучше бы обдумывал свои преступления, лёжа в ванне – есть же классический пример.

– Можно сказать ему, – отозвалась Муза. – Если нужно, я схожу.

– Нет, нет! – перепугался я. – Ни за что. В крайнем случае – вот же телефон.

Недоставало ещё, чтобы она ушла к другому; случись так, мне стало бы не до изящной словесности.

– Вы, собственно, где живёте? – вдруг спросила жена.

– Это зависит... – замялась девушка. – Впрочем – в Черёмушках.

– Милое название. Но я спрашиваю не о Москве.

– Уже поздно, – прервал я затянувшийся дамский разговор. – Попробуй заснуть. А мне и в самом деле надобно немного посидеть.

Бросив на прощание яростный взгляд на Музу, жена отвернулась к стене. Честно говоря, я не ожидал от неё такой терпимости. Разумеется, Роза не собиралась засыпать, а думала подслушивать и подсматривать, но это было её право, и это не могло помешать нам. Она только попросила уменьшить свет – ненужно, оттого что и так единственным освещённым предметом в комнате был мой блокнот с набросками автопортрета; трудно было представить, как это великие писали при одной свече.

Сейчас свеча, отражаясь в зеркале, мешала различить другое отражение; моё лицо ещё кое – как угадывалось (особенно – очки), очертания музыки приходилось уже воображать, зато жены как бы и не существовало вовсе – настолько она по – рембрандтовски растворялась в тёмном фоне.

С ПОНЯТЫМИ

Работа сочинителя перед зеркалом трудна тем, что, описывая себя, неловко бывает давать волю воображению; то, что в других случаях называлось бы художественным вымыслом, здесь считается ложью, и если в вольных сочинениях трети лица дозволяется наделять попутчиками, преследователями, супругами либо конвоирами или же, напротив, щедро одаривать уединением, то при честном письме от первого лица не удаётся ни приблизить к себе кого –нибудь лишнего, ни прогнать навязавшихся чужаков. Последние бывают столь настырны, что, пища себя, устаёшь замалёвывать то и дело проступающие на фоне многие лица соглядатаев, и стоит ненадолго отвлечься, как мирный автопортрет начинает походить на картину Босха; диву даёшься, каких уродцев посылают доглядывать за мною. Если же отступить от такого полотна подальше, чтобы их подлые черты стали неразличимы, получается, пожалуй, только хуже: рассыпанные по холсту их физиономии видятся тогда нездоровой розовой сыпью, как при краснухе или кори. Мне и в самом деле уже в довольно зрелом возрасте (далёкое это было время) пришлось переболеть краснухой; раньше она считалась детской болезнью, но на моих глазах поражала и взрослых, почему – то оказываясь наиболее опасной для художников – неважно, поэтов или живописцев. Вызывающий её микроб с годами совершенствовался, народные средства вроде суровых или красных ниточек скоро устарели (кроме водки, конечно, – не исцелявшей, но приносившей верное облегчение), и приходилось выдумывать всё новые лекарства; говорят, будто наконец нашли даже и подходящее, да наш терпеливый и не падкий на новинки народ так долго собирался его испробовать, что одна болезнь перешла в другую. Лечась у себя дома и по – своему, то есть соскабливая старые мазки жёсткой щёткой, я однажды переусердствовал и счистил с холста вместе с сыпью и собственное, выписанное с огромным трудом лицо – очень кстати, потому что когда меня вскоре призвали к ответу неизвестно за что, я сумел привести замечательный довод: вот оно, дело жизни, моё полотно, на котором соглядатаи есть, а меня – нету. Врачи, впервые наблюдавшие сыпь в отсутствие пациента, только переглянулись; он же, мнимый больной, возгордился изобретением нового жанра – автопортрета в состоянии алиби.

Итак, поинтересоваться моим бытием пришли – без меня. Помимо неперенных уродов в компанию затесались и двое понятых: немолодая лифтёрша Лида и сапожник дядя Паша, живший на первом этаже, возле лифта, в каморке без кухни и уборной: как раз напротив его двери и сидела на своём жёстком стульчике востроносая Лида. О них известно было то лишь, что одна «стучит», а второй – пьёт, как сапожник; думаю, что Лида о нас знала куда больше.

Этой паре, видимо, следовало бы поразиться убранством жилища, по нашим представлениям – скромного (о том, как жили они, я мог судить лишь по виду дяди – пашиной каморки, дверь в которую вечно стояла настежь, так что всякий входящий в лифт видел, что вся её обстановка состоит из лежанки, стула да сапожной оснастки; где и как жила Лида, можно было – и не хотелось – только догадываться). Они и впрямь были поражены – я бы никогда не догадался, чем: отсутствием кабинета; Лида так и спросила: «Где же они работают?» Мой ответ был бы непрост: я и сам не понимал, как во всей просторной квартире не нашлось места не то что для рабочей комнаты – дерзкая мысль о ней даже не приходила мне в голову, – но и для письменного стола: для письма я использовал чертёжную доску, кладя её одной стороной на деревянный подлокотник дивана, другой – на рояльный винтовой табурет, наращённый стопкою книг. В этом доме не верили в необходимость моих умственных занятий, отчего, наверно, о них и узнали чужие. Лида, едва ступив в прихожую, сразу завертела головой, ища место преступления; но моя доска в отсутствие хозяина всегда стояла за шкапом.

Всё же вопрос о кабинете, едва заданный, повис в воздухе: уже стало ясно, что тут не хватает большего. Понятым было невдомёк – я и спустя долгое время не хотел объяснять им, –

что на сложившейся картине осталось белое пятно, что там присутствовали и случайные прохожие, и они сами, понятия, и мелочи антуража, я же был тоже, но – не там.

Родители на эти дни куда – то уехали, и моим сестре и подруге, ещё не ставшей женою, а в сей неподходящий момент забежавшей отдать какую – то книгу, пришлось играть роль хозяек. Неуверенность незваных гостей они почуяли сразу, и если сестра потерялась и сама, то подруга, смекнув, улучила момент и на всякий случай осторожно проводила дядю Пашу на кухню. Делом минуты было налить ему чайный стакан водки.

– Надо соблюсти, – к её великому удивлению, возразил он и аккуратно слил половину обратно в бутылку, а выпив залпом остальное, проговорил, наверно, обо мне: – Порядочный был мужик.

– Что это вы – словно о покойнике? – возмутилась моя девушка.

– Так ведь другая слава пойдёт.

Слава и впрямь в любом случае теперь ожидалась иная; задумавшись об этом, подруга не слышала, что понятого уже звали, хватившись. Тот, доедая на ходу огурец, ушёл незаметно для неё, хотя с первого раза и не вписался в дверной проём: половина стакана была, видимо, не первую. За его дальнейшими приключениями в дороге не наблюдал никто, и никто не помог ему выбраться из стенного шкапа, куда он забрёл вместо комнаты. Меня, впрочем, не было и там.

Искали, однако, не меня, а какую – то мелочь – бумажную, разумеется. Сестра, выдерживая расспросы, разводила руками: с каких это пор я позволял ей знакомиться с глубинами портфеля, в котором, за неимением стола, хранился весь мой жалкий архив? Настойчивые требования пришельцев скоро подействовали, и она раскаялась, но помочь им всё равно не могла. Чертыхаясь, те продолжали действовать самостоятельно, но без толку, и даже ставшая венцом всего разделка свежего судака (мы жили над рыбным магазином) не принесла им успеха.

– К допросу, к допросу надо переходить, – вдруг занервничал младший из сыщиков, не совсем ещё урод, а всё – таки карлик.

– Без субъекта?

– Сами справимся. А понятия подтвердят.

Усевшись друг напротив друга, они принялись допрашивать с пристрастием. Поначалу дело шло споро: имя, отчество, год рождения были известны заранее, год смерти они, к счастью, прочеркнули, и лишь с особыми приметами вышла заминка; пришлось призвать на помощь женщин, но и это не помогло, оттого что те разошлись в оценках – заспорили, например, о цвете моих глаз: сестра настаивала на сером, подруга – на голубом, а лифтёрша твердила об очках. Истина в споре не родилась (участники не были единомышленниками), и главный из тех двух писарь решительно проставил в нужном месте «б/ц», что означало: без цвета. Находясь я рядом, запись рассмешила бы меня, но я узнал о ней позже, слишком поздно, и тогда испугался за автопортрет, отчаянно не желая малевать себя белоглазым, но вскоре, впрочем, вспомнив о своём праве на художественный вымысел и тем успокоившись.

Разделавшись с формальной частью, гости принялись сочинять скучный боевик, отчего понятия окончательно перестали понимать, что к чему. Лида то и дело вздымала взгляд к стенным часам, словно ждала, не могла дожидаться моего возвращения, а дядя Паша на глазах терял всякое представление о действительности. Сдавая, он тщетно пытался что – то сказать лифтёрше, тоже изменившейся от волнений настолько, что первоначальное сходство её с доberman – пинчером, курящим папиросу, переменялось на сходство с чёрной крысой. Мычание сапожника мешало ей прислушиваться к говорившемуся в комнате не для неё, но едва она будто бы невзначай прикрыла рукою ухо с его стороны (а с другой, наоборот, приставила ладошку раковинкой), как дядю Пашу наконец прорвало:

– А сапоги у другого чинил, – торопливо, пока получалось, посетовал он.

Между тем уродец уже предъявлял какие – то бумаги – будто бы найденные, а в действительности минуту назад сочинённые им самим: строчил он усердно.

– Мы неграмотные, – трезво предупредил сапожник.

– Мне лучше знать, – охладил его уродец, от которого несло сырой рыбой.

– Наше дело извозчичье, – смиренно проговорила Лида, потупив острые чёрные глазки. – Куда велят, туда и едем.

Куда ехать, не знал сегодня никто; не обнаружив моих бумажек, сыщики поскущели и, наверно, давно бы уже исчезли, когда б их не удерживали запахи из кухни (рыба ещё не подрумянилась). И всё же им не повезло: на исходе жарки прозвенел телефон, большой уродец забубнил в трубку о своих достижениях, но на том конце провода слушали плохо или плохо слышали и, перебив, призвали агентов в контору. Заторопившись, те не сообразили, что должны увести с собою понятых.

Оставшаяся без командиров Лида притворно вздохнула:

– Жди теперь до ночи, пока о нас вспомнят.

– Теперь совершенно нечего ждать, – испуганно возразила подруга. – О вас не вспомнят никогда, и лучше, не теряя времени, распорядитесь собой сами. Можете хоть махнуть на какую – нибудь из великих строек коммунизма, хоть что.

– Нас тут как будто на пост поставили...

– Только будто. Вот, рыбки поешьте – и свободны, – нашлась сестра.

Так им всем и запомнилась эта вечера, в масштабе один к трём: четверо едоков рыбы. Не хватало, правда, летописца, чтобы увековечить действие: я появился через день. Ничего не подозревая, помахивая тем самым портфелем, я взбежал, пропуская ступени, к лифту – и остановился, удивлённый пространными словами Лиды, с которой мы обычно только раскланивались, не более:

– Тут позавчера искали...

– Что или кого?

– Сдаётся, вас. Хотя, раз не устроили засады, то, может, бумагу какую?

Неопытный, я всё – таки подумал, что она, видимо, таким манером предупреждает, и надо уносить ноги – и унёс бы, если б на голоса не выглянул дядя Паша.

– Что она болтает? – довольно связно выговорил он. – После нас там никого не осталось. Сам я, правда, не помню.

В квартире и в самом деле не было ни сестры, ни засады – я почуял это ещё с порога, как часто чуешь особенную пустоту помещения, из которого все ушли, но не поленился заглянуть за шторы и в шкафы (честно говоря, из последних меня интересовал только холодильник). Не найдя ничьих следов, я включил магнитофон – выбрав, по настроению, концерт Сары Воэн, – и, выпив отцовской водки, задумался над своим положением. Получалось, что спастись бегством можно было погодить: в хронике минувшей недели мои черты не запечатлелись. Ничего бы не изменилось и в том случае, если бы в эти дни я вообще не жил на свете: я не отбросил тени, зато приметыв сапожника и лифтёрши, о роли которых пока приходилось гадать, явно были где – то отмечены – неважно, где. Самым скверным было то, что они все знали обо мне что – то, а я сам пребывал в неведении – относительно и этого «что – то», и тайных их намерений. Будучи единожды призваны, они могли счесть своим долгом продлить начатое и отныне присутствовать при каждом моём действии – всякий заметил бы, как отчаянно хотелось этого Лиде. Лишь бедному сапожнику было не до того: он либо пил, либо зарабатывал на водку, приколачивая бесконечные набойки. Перед моими глазами так и стояла несуществующая картина Босха, в самом уголке которой (внизу слева) тщательно выписанные уродцы обжирались жирной рыбой, а рядом с ними, сгорбившись, тачал сапоги знакомый человек. С волнением я всмотрелся в остальную толпу – моего лица, слава Богу, не попало, как не попало и сирой безликой фигуры. «Что ж, пусть пишет», – позволил я незнакомому автору.

Вскоре приехали с каких – то берегов родители. Не знаю, что поведала им моя сестра, только они ничем не показали, что знают о происшедшем. И в те же дни умер дядя Паша. Проститься с ним пришло на удивление много народу. Протиснувшись при выносе тела вперёд, я вдруг понял, что не смею заглянуть в открытый гроб: ещё неизвестно было, чьё лицо придётся там увидеть.

берлинские

«На фоне Пушкина, и птичка вылетает...» Отчего – то, снимаясь, надобно помещать себя непременно «на фоне», и ярмарочные фотографы малюют для этого изумительный антураж; их жертвам остаётся только просовывать голову в дырку, навстречу птичке. Художников, пишущих кистью, часто занимает нечто другое, и бывает, что, работая портреты, они пренебрегают подробностями обстановки: им попадаются настолько разные лица, что дай Бог хотя бы разгадать выражение каждого – тут уж не до плохо различимых околичностей. Иное дело автопортреты: сколько их не пиши, изображаемые черты остаются одними и теми же, разве что портятся от времени, и повторение их может надоест так, что коль скоро всякий раз не дозвёшься Саскии, то придётся выдумывать всё новые и новые костюмы и декорации – сдерживая себя, чтобы соблюсти меру и не вынести природные черты вообще за скобки. Тут хорошо бы иметь особые воображение и ловкость, потому что подходящего фона может не иметься вовсе и его поиски превратятся чуть ли не в цель жизни, когда во всём уже так и будет мерещиться один фон, фон, фон; вот и я в России существовал, литератор, вне издательств, а позже, когда вокруг начались перемены, то – вне собраний единомышленников, так что если и различался кем – то, то словно бы и не на сцене, а в пустоте; только попав в новую страну, я в многочисленных отражениях увидел не себя, а, чего не ожидал, себя – в ней.

Автопортрет в день рождения

Автопортреты, понятно, пишутся не всякий день: и жизнь прекрасна, и мир нескучен, а своё лицо – что ж, оно всегда под рукой, и не расскажи о нём нынче, оно и завтра не убежит – разумеется, о случаях его потери я наслышан и, как водится, полагаю втайне, что дурное происходит лишь с другими, более того – с незнакомыми, и раз так, то избранное нами дело можно откладывать до бесконечности, то есть, видимо, именно до потери лица, воспрепятствовать чему могут лишь сила воли и твёрдо назначенные сроки. Для нашей своеобразной (буквально: свое – о'бразной) работы наверняка известна единственная благоприятная пора, вроде парада планет или дня ангела; но последний – день, всё – таки, не мой, но ангела, тёзки – великомученика, моим же, по праву, скорее окажется день рождения. Его и выберем.

То, что в этот день трудно, как и при сухом законе (привет Дос Пассосу), оставаться трезвым, значения не имеет, поскольку портрет призван отобразить лицо – цветущее ли, мёртвое, постное или оживлённое вином – любое, подобно тому, как всё это с оригинальным пристрастием отображают зеркала; не стоит мучиться, пытаюсь решить, пить ли, не пить либо пить, но поняв систему, коих известно великое множество: сколько людей, столько и систем. Поскольку и я человек, то не премину внести свою лепту: пить можно сколько влезет, но только если не собираешься потом перейти от обеденного стола к письменному. От доброй чарки мой бедный ум надолго теряет способность витать в придуманном пространстве, вылавливая там метафоры; иное дело, если после нескольких дней непрерывной работы колёсики в голове раскручиваются так, что остановить их хотя бы на ночь возможно лишь силой – тогда и пригождается пресловутая чарка. Моё правило годится, однако, для любого в любом месяце числа, но не для дня рождения, когда приглашённые в дом вправе обсуждать изменившиеся за год черты виновника торжества независимо от его состояния.

В этот раз не нашлось ни званных, ни избранных, а местом действия стала крохотная японская закусовая, куда я через весь город приехал отведать sake. Не перечить напитков, перепробованных мною за десятилетия практики – от самогона и технического спирта до всяческих джинов, грапп, текил и ромов, – и только вкус тёплого sake оставался незнакомым. Вот я и решил сделать себе подарок, заполнив пробел.

Не различив вывески, я было прошёл мимо нужного заведения: заглянув на ходу в окно, я предположил внутри контору либо мастерскую – скромность обстановки отвечала моим представлениям скорее о недавней советской, нежели о японской культуре. Три полочки на стенах, составлявшие всю мебель по эту сторону прилавка, не располагали к долгой трапезе и исключали всякие мысли о гейше на коленях.

Счастливиц Джим из смешного романа Кингсли Эмиса умел состроить гримасу человека, съевшего лимон; отчего же не – выпившего sake? Возможно – благодаря знакомству автора с предметом: принявшие это причастие знают, что одна общая мина тут невозможна. На лице впервые выпившего, когда бы за ним наблюдали с улицы (увы, Паризер штрассе немногочисленна), легко можно было бы увидеть изрядную гамму отражений: ожидание подвоха, решимость, озадаченность, разочарование и наконец – снисходительное одобрение. Закуска изменила бы названный ряд, но русскому человеку обойтись без неё проще, чем заказать – из – за неумения есть палочками и незнания того, полагается ли вообще закусывать sake. Впрочем, независимо от ответа художник из России, а тем более – автопортретист, не понимающий иноземной манеры пить, не заедая – не занюхивая, хотя бы, – непременно сунул бы в руку модели ржаную корочку.

В нашем списке упущено ещё одно выражение лица: восхищение тем, как был подан напиток: в горячем керамическом кувшинчике, изящно перевязанном, чтобы не обжечь пальцы, бумажной ленточкой.

Здесь уместно вспомнить одну нашу соотечественницу – туристку, искавшую в Японии семена икебаны.

Автопортрет на империале

Кстати, о птичках: впервые оглядывать новые места удобнее всего с высоты птичьего полёта. Такая точка зрения достижима не везде и не тотчас: рождённый не ползать, наш прямостоящий брат всё же вынужден тут прибегать к помощи кое – каких орудий – если не крыльев, то хотя бы лестниц; по одной из них можно взобраться на второй этаж автобуса сотого маршрута, известного торопливым приезжим, согласным за неполный час получить неполное представление о Берлине: он идёт из восточного сектора, через его безобразный центр, к центру – западному, каковым считается Цоо, район зоопарка; виды обоих несравнимы, равно как и прочие парные пейзажи обеих частей города, как и черты недавних разных Германий, которые всё ещё, вопреки Киплингу, пытаются сойтись вместе.

Проезжая через город, турист видит различия лишь в архитектуре, прочие же если и заметит, то не осознает; но и застройка может сказать о многом – о том, например, что после войны на Востоке, не помня родства, сносили развалины, чтобы на их месте построить уродливые, по советской моде, коробки, а на Западе немцы свою половину восстанавливали такую, какой была. Вот и нужную нам сегодня автобусную остановку окружили панельные дома – более, конечно, аккуратные, чем в каком – нибудь Свиблове, но и менее, чем там, уместные.

Город, между тем, состоит не из одних фасадов; почти не зная восточной зоны и вздумав прогуляться почти от дома до остановки пешком, я поневоле вспомнил петербургские тротуары, которым, жалея обувь, предпочитал, в нарушение правил, проезжую часть (не на Невском, конечно, а там, куда не водят экскурсантов); пробыв в северной российской столице неделю перед самым отъездом в Германию, я понял, почему тогдашний питерский мэр проиграл выборы. Возможно, сейчас я применил нечестный приём, использовав столь сильное сравнение: стенам и панелям Санкт – Петербурга (последним – в одном только смысле) по своему состоянию далеко даже до гэдэеровских, но надо понять и автора, живущего на другой половине.

Так или иначе, позировать перед зеркалом я пока не мог: лицо, из – за воспоминания о родных дорогах, было менее, чем когда – либо, достойно кисти.

Итак, автобус рванул на Запад (именно так, рванул: эти туши отличаются удивительной резвостью, так что ездить в них стоя непросто – но ведь почти никто и не стоит), и уже через пару минут по левую руку открылся парк; чего – то в этом роде я и ожидал – Берлин очень зелен, в нём не счесть скверов, парков, кладбищ и даже садовых участков с крохотными дачками, и при своих поездках наземным транспортом я только и знал отмечать: вот у этого пруда, вот по этим аллеям я ещё не гулял, да ведь негде было взять на них на всех время, отчего и пришлось теперь глядеть поверх крон и оград, постигая законы перспективы с империала, откуда можно увидеть удивительные вещи, особенно если сидеть в первом ряду; глядя тогда не вбок, а вперёд, никак не удаётся соотнести расстояния и углы зрения, и всякий раз, когда у красного светофора автобус подкатывается к остановившейся там легковой машине, мне, оттого что я довольно скоро перестаю видеть её впереди и внизу, кажется, что водитель не рассчитал или забылся и сию секунду произойдёт авария, да и произошла уже, и наша громада либо заглотала несчастную машинку почти до передних фонарей, либо расплющила в тонкий лист жести. Однако обычно обходится без происшествий, что выясняется тотчас, едва зажигают зелёный свет.

Моей соседкой на переднем диванчике оказалась молодая блондинка. Она подняла ноги на поручень, ограждающий стекло, но не прямо перед собою – так ей тесно было бы, – а захватив и мою сторону, и мне прежде пейзажа приходилось различать её розовые пальчики, довольно подвижные; по мере нашего углубления в город девушка то, казалось, указывала вторым пальцем куда надо смотреть, то – большим – обозначала своё восхищение увиденным: во! Боюсь, что из – за этого я пропустил за окном много примечательного. С другой стороны, будь стекло зеркальным и я наконец принялся бы за автопортрет, мне бы очень мешало отражение её тупоносых подмётков (в каталогах выставок так бы потом и значилось: «Автопортрет с подмётками неизвестной дамы», тушь, помада, лак, настоящая кожа»).

На третьей или четвёртой остановке некстати появился фотограф. Чтобы причалить, автобус тупо наезжал на него, обеспокоенного лишь наведением в мою переносицу своего дальнобойного ствола и препятствием тому в виде всё тех же нелепых подмётков с приставшей жвачкой на одной; сначала я, видя не то и не с той стороны и считая помеху прелестным украшением, не понимал его промедления. Понемногу наша машина подмяла под себя этого смельчака, которого я уподоблял партизану со связкой гранат, однако взрыва не последовало, а минуту спустя на нашем этаже появился сам народный герой, живой и невредимый.

– А я вас узнал, – заявил он по – русски, усаживаясь через проход от меня.

Видимо, я переборщил с рассылкой автопортретов по телевидению.

– Фотооператоры вам не требуются? – не теряя времени, на всякий случай поинтересовался он.

– Думаю, что они не требуются в фотоателье, что через дорогу от студии. А нам не требуются ни телеоператоры, ни ведущие программ. С работой нынче туго.

– Чем чёрт не шутит. Всегда лучше спросить, чем промолчать – чтобы потом не думалось. А классный здесь получится кадр: вы и эта девица вверх ногами.

– Получился бы, когда бы вы сменили объектив: в такой тесноте с телевиком делать нечего.

Сменной оптики у него не нашлось, и снимок пропал. Один Бог знает, какие приключения ожидали бы меня, не забудь он дома свои принадлежности. Потом мне всё мерещился этот не снятый кадр, вовсе не предосудительный, попади он в добрые руки, – единственный след, который остался бы от моего путешествия на империале; без него же – блондинка, выйдя где – то на полпути, пропала навсегда. Немного спустя сгинул и фотограф. Мне не было и нет до них

дела, но, быть может, нам неспроста приходится ежедневно расставаться навеки с десятками, а когда и с сотнями людей: этим поддерживается постоянное ощущение потери.

Между тем, кое – кого из них следовало бы забывать ещё до встречи. Теперь со мной не было ни отражения, ни соседей; оставалось смотреть в окно – запоминая либо вспоминая. Слава Богу, за разговорами я не заметил, как мы миновали Александер – пляц, и теперь катили по улице, с которой когда – то началось моё знакомство с Берлином. Будучи тогда здесь проездом и имея в распоряжении всего два или три часа, куда ещё мог я пойти? Берлин – не Париж, и мне по книгам была знакома одна Унтер – ден – Линден (что на русский переводится примерно как Подлипки – москвичи меня поймут); на неё мы с женой и направились. Дело было зимой и вечером, то есть давно стемнело, но голые липы не мешали смотреть на противоположную сторону – только смотреть оказалось не на что, не находилось чудес зодчества, а лишь – очередные коробки. Разочарованные, мы всё же дошли до Бранденбургских ворот, возле которых всюду шла стройка и за которыми было темно (ещё и мороз трещал не по – немецки) и пусто – правда, я знал из карты, что там начинается Тиргартен, парк. Повернув восвояси, мы были вознаграждены, найдя в другом конце улицы прекрасные старинные здания – последние, быть может, приметы бывшей империи. Позже я проходил здесь не раз, но и по сей день не привык и всё радуюсь им. В сегодняшней же поездке подобные здания были не последними – впереди ждал дворец Бельвю; прекрасный дворец – но вот тут – то Санкт – Петербург и Петергоф вспоминаются уже с другим чувством.

Лицо, как знают живописцы, у каждого своё, и (об этом они не догадываются) почти всякому оно впору и кстати; душе одного зрителя любезны фонтаны и статуи, а другого – старинные, фигурного литья, водоразборные колонки. Тиргартену пришлось впору просвечивающие сквозь листву сквозные современные звонницы; мы привыкли видеть их хотя и особенными, но зданиями, здесь же это были всего лишь многоэтажные рамы для подвески колоколов; подумав, так и в самом деле нелепо требовать от них чего – либо, кроме удобства: главное, чтобы возможно было звонить (по ком? – увы, есть, по ком) – особенно, если колокольня построена как памятник.

Автопортрет в маске

Посадив к себе на колени женщину, художник её – то обессмертил, но сам не выиграл нисколько; ремесленникам, чей век короток, не стоит повторять сюжет. Вдобавок, даже и нечаянное упоминание этой особенной позы звучит здесь двусмысленно; здесь – это вблизи немецкого телевизора, где многое происходит, конечно, и на коленях, и ещё Бог знает в каких положениях, – и пусть бы так оставалось и дальше, только в меру, – но беда в том, что насмотревшись хроники и многочисленных специальных программ, приходишь к выводу, будто старые добрые способы любви изжиты напрочь, вытесненные скучными фокусами.

В этой части наблюдаемой картины краскам не хватает сочности, и примерно того же недостаёт и слуху: решительному противнику так называемой ненормативной лексики в литературе, мне в иностранной толпе бывает тоскливо без умеренно её увлажняющего родного матерка. С этим, увы, ничего не поделаешь, оттого что каждый из нас в отдельности, а затем и каждый народ лелеет свои представления о свободе. Для меня свобода (в том числе) – выступающая по телевидению, не выходящая за рамки живого языка, издавна установленные в приличном обществе (что как раз на телевидении и не принято), чтобы жители потом узнавали манеру речи, но не позу и не лицо – мне вовсе не нужно, чтобы посторонние оглядывались на улице; они и не оглядываются, потому что передача – русская, а город – немецкий, и из – за этого неузнавания меня не покидает ощущение присутствия на весёлом карнавале: то ли я и на съёмках сижу в маске, то ли надеваю её, выходя наружу.

В городе, где живёшь вольным художником, приятно оставаться невидимкой.

Автопортрет невидимки – пустой экран телевизора; портрет невидимки – чистое поле компьютера, на котором биографу только ещё предстоит набрать текст, но он медлит, теряясь в выборе шрифтов, ведь не всяким напишешь «Игумен Пафнутий руку приложил». Умение изящно изображать буквы, помнится, относилось к числу исключительных дарований. Теперь всё это бесконечно далеко, как далека всякая другая жизнь, – игумен, моя библиотека, Яковлев в роли, – и тем не менее забавно, что в Берлине можно прожить, не зная немецкого слова:

круг знакомых – это, натурально, земляки (а у меня ещё и давнишние приятели), журналы, в которых я печатаюсь в Германии, выходят на русском языке, соответственно и прочие мои рабочие интересы не распространились за пределы родной речи, русские газеты продаются по всему городу, а книги можно читать – из русских библиотек; к перечню нужно добавить ещё и врачей, выбираемых из числа либо знающих наш язык, либо просто русских – как же иначе обстоятельно пожаловаться на здоровье? Что же до магазинов, то в супермаркетах, где мы покупаем продукты, общение с персоналом сводится к приветствиям и взаимным благодарностям: расплачиваясь в кассе, сумму можно прочесть на табло.

В «сотом» автобусе я впервые прокатился после года проживания в Берлине, не ожидая увидеть ничего для себя нового – и не увидел. Но сделай я это и в первые дни, итог был бы приблизительно тем же: в отличие от Парижа и Лондона, повторяю, Берлин мало знаком и по литературе, и – тем более – по живописи, и если мои российские представления о нём оказались ничтожны, то ничтожною оказалась и ошибка в них: я думал найти германскую столицу более, скажем так, заграничную, но пресловутого обморока от вида полных прилавков у меня, уехавшего из России после 91 – го, а именно – в 96 – м году, приключиться не могло, общий же облик этого безусловно приятного на глаз города примерно отвечал моим ожиданиям, сгущённым из досконального знания местности трёх наших прибалтийских, то есть тоже западных, республик. Я, хорошо понимая, как выглядел со стороны в их пределах, вообразил, как выяснилось, то же самое и на немецком фоне. Соответственно и быт устроился здесь так, как тому следовало быть, не хуже.

Автопортрет без собаки

Самое верное отражение было бы – со псом: в нём жила – так и отлетела – часть моей души.

Позировать с чужими собаками стало бы ложью; к тому ж, общаться здесь с ними, вовсе не понимающими по – русски, непросто, и достаточно искущённый зритель автопортрета немедленно заметил бы подделку. Я бы – заметил.

Всё же, и не зная языка, свою породу они признают: для встреч с единственным в округе ризен – шнауцером мне, бывшему хозяину такого же, впору надевать спецовку – так бурно он радуется. Между тем ни его хозяйке, ни ему самому я ничего не рассказывал о своём покойном ризене: всё ясно и так.

Содержать собаку на эмигрантское пособие немыслимо: пусть еда недорога и налоги терпимы, но услуги ветеринаров никому из нас не по средствам – их, если, не дай Бог, случится беда, не оплатить и всем миром. Вот и квартира у меня такова, что ни за одной стеной нет соседей и никто не слышал бы лая, вот и славный сад застит окно махровой сиренью, а я живу без собаки. Остаётся смотреть на чужих, благо их – множество на берлинских улицах: нет, всего их не больше, чем в Москве, но больше – на улицах, оттого что собакам тут нет нужды сторожить квартиры, и их не оставляют одних дома, а, жалея, берут по возможности с собой – за покупками, в гости, в кафе.

Готовясь к отъезду из России, мы с женой, успокаивая, говорили нашему псу, что поедем вместе, объясняли, каким образом он поедет; если бы нельзя было его вывезти, то остались бы и мы. Он – не дождался...

Одна советская семья, встреченная нами в Германии, поступила иначе: прожившего с ними одиннадцать лет ризен – шнауцера (опять – таки!) оставила своим знакомым; совершили это они будто бы в два приёма, с репетицией, и старый пёс будто бы отнёсся к предательству спокойно – но надо знать ризенов, их выдержку и человеческую глубину переживаний. Что он теперь думает о людях!..

Наш пёс продолжает жить с нами как миф. Вот и автопортрет оказался без него невозможен.

Автопортрет в оконной раме

Всякая тема исчерпаема.

Вполне возможна такая любовь художника к себе, чтобы никогда не перестать писать автопортреты – при том даже, что с каждым новым ему будет труднее и труднее находить не использованный прежде фон – какой – нибудь да окажется последним: не век же скитаться человеку по свету, меняя дома. Мне названный жанр изрядно надоел – и тем не менее я жду не последнего изделия, а следующего за ним, и приглядываюсь к зеркалам. Та, с дудочкой в руке, потерявшая было меня из виду, кажется, вот – вот снова постучится в дверь, вынуждая бросить то суетное, чем доводилось пробавляться в её отсутствие, и приступить наконец к работе над шедевром (то есть думать, что – над шедевром; другое дело, как потом оценишь уже готовую работу); только бы успеть записать за нею, вечно торопящейся. Известно, правда, какие страницы диктовала она Данту, – что ж, не всякий диктант приходится ученикам по вкусу, но и выбора не дано, и тот, кто отринет нашу флейтистку, обречён впустую играть словами. Она, бывает, уклоняется от встреч, и тогда поиски и преследования её могут приобрести вид болезненного пристрастия; мне, например, в последние годы то и дело мерещилась невнятная фигура – не то первая любовь, не то и вправду муза; наконец знакомый профиль будто бы промелькнул в ночном окне разрушенного дома, замыкавшего наш сад, заселённый птицами – от грачей до сорок, – вернее, прикасавшегося к левому дальнему его углу так, что с моего рабочего места, если откинуться на спинку кресла, видны были пустые проёмы верхнего и мёртвые стёкла нижних этажей, а над кромкой стены – крест кирхи (описать этот пейзаж возможно только в прошедшем времени: к прошлой весне это ненужное здание аккуратно разобрали, и теперь я наслаждаюсь совсем другим видом – на открывшийся по пояс храм).

Призрачный огонёк в окне ещё нетронутой тогда развалины привиделся мне летом. Раздевшись на ночь и погасив свет, я заметил мерцание за чужим стеклом, но удивился тому лишь, что в окрестности кто – то способен бодрствовать дольше меня (предположение, что там уже встают, не пришло мне в голову); приписать тамошние бдения бездомным было бы явной ошибкой, потому что не до часа же волка терпеть им со своим скромным ужином. Нет, тут было, бесспорно, что – то более серьёзное, и я заточил карандаши и задумал наскоро, в считанные минуты до свидания с хранительницей странного огня живописать не самую неверную деву, а упомянутый дом, руины, так кстати спрятанные в глубине квартала – используя, разумеется, как фон; то, что я постоянно возвращаюсь мыслью к заднему плану, к незначительной обстановке, говорит скорее не о забывчивости, а лишь о кризисе выбранного жанра, ведь автопортрет с музой мною уже написан, только не сейчас и не здесь, а страшно давно, в прошлой жизни, как говорят наши эмигранты, – в несуществующем теперь писательском доме под Ригой. Та вещь была сделана мною с любовью, а все эти здешние... Нет, язык не поворачивается отказать им в любви, хотя бы отеческой – пусть я приступал к ним всего лишь будто бы для тренировки глаза и руки, за отсутствием иной, кроме собственного отпечатка в зеркале, природы, но мне дороги усилия, предпринятые для достижения неведомой цели: многие мои сотоварищи плодят изображения себя всего только для сокрытия недостатков собствен-

ной внешности, но моя из одних лишь недостатков и состоит, тут уже ничего не исправишь, и оттого я так забочусь об антураже.

В ночных городах светится столько огней самого разного толка, что, наблюдая из отдаления или с высоты, не станешь гадать о свойствах и происхождении ни каждого, ни даже каждой тысячи, но в зажжении этого, в брошенном доме, я увидел некий знак – оттого что заждался музыки. В течение жизни у иных художников бывает множество любовниц (жён – и тех может случиться несколько), и только муза если и осчастливит знакомством, то лишь – одна. В первых двух случаях всегда находится возможность более или менее равноценной, особенно на посторонний взгляд, замены, однако неявка этой единственной третьей чревата, увы, самыми предсказуемыми последствиями. Некоторые, устав ждать, так отчаянно её призывают, так усердно подстраивают случайные встречи, что им уже начинает мерещиться не только то, чего не будет, но и то, чего не было. Вот и мне в неверном, словно бы таящемся от людей, словно бы запретном свете в необитаемом строении почудился знакомый очерк.

Когда мы виделись в последний раз, меня поразило, что она не изменилась со времён нашей юности, переменился только её взгляд на самоё себя: осознав наконец свою цену, она стала принимать собственную неотразимость как должное (раньше меня занимало, что чувствуют, не испытывают ли неловкости женщины, на которых смотрят и которых желают все, – теперь перед глазами был живой пример); возможно, поэтому – нет, нет, мы с нею отлично ладили и в этот раз, но всё же... – больше мы не встречались. Мне пришлось заняться более прозаической, чем прежде, работой, из – за которой стало не до девушек, и только в последние месяцы, запоздало сообразив, видимо, что седина давно уже утвердилась в голове, бес потихоньку вернулся к проказам, начав прощупывать ребро. В расчёте на приключение я и двинулся к развалине, одновременно пытаюсь припомнить, всё ли в порядке на моём верстаке, в достатке ли там перья, кисти, краски, зеркало наконец.

Заглянуть в окно оказалось непростым делом: разделявшая владения лёгкая проволочная сетка не выдержала бы моего веса, а удобный для лазания старый грецкий орех рос чересчур далеко от ограды; пришлось строить пирамиду из садовой мебели. С вершины этого зыбкого сооружения взгляду открылась пустая комната с белыми стенами, посреди которой спиной к окну стояла, покачиваясь, женщина со свечой в руке; она готовилась танцевать либо декламировала стихи, и её зыбкая фигура показалась мне знакомой (странно было, что её так пощадило время). Вдруг она повернулась лицом, и я, собравшийся было окликнуть давнишнюю приятельницу по имени, вздрогнул, увидев чужую старуху с проваленным или перебитым в драке носом.

Она не испугалась, а легко махнула рукой, приглашая.

Отыскать нужное помещение оказалось нетрудно: дверей в доме давно не осталось, некоторых перегородок – тоже, и можно было идти просто на музыку и свет.

В освещённой люминесцентной трубкой комнате я застал целую компанию девочек с блёстками на коже и с голыми пупками и молодых людей в майках и джинсах; все они, лёжа на полу – кто на спине, а кто как, – дёргали свободными частями тела в такт тому, что испускал их слабенький магнитофон, а именно – ритмичному «бум – бум» на басах. Старая женщина, оказывается, пела, пытаюсь сдобрить этот затяжной аккомпанемент хотя бы какую – нибудь мелодией.

Этой ночью толпы вполне приличной молодёжи ночевали в берлинских парках прямо на травке, вот и эта компания, видимо, в поисках ночлега случайно, на огонёк, забрела в нашу незначительную развалину; загадкой было то лишь, как их занесло из центра в столь неблизкий район. Только что, в полночь, провожая московский автобус, я видел их обезумевших от свободы сверстников, расположившихся на привокзальной площади: те приехали на машинах да так в них же и остались жить на стоянке; из недр автомобилей разносилось всё то же «бум – бум» – непомерно громкое, и тем не менее перекрываемое многоголосым свистом (шуст-

рые продавцы у выхода из метро едва и мне не всучили полицейский свисток); это происходило буквально под стеной зоопарка, и можно было только посочувствовать тамошнему зверью, обречённому на бессонную, полную страхов ночь. Многие танцевали. Мой автобус сильно опаздывал, и я вынужденно с интересом приобщался этой ночной жизни. Неподалёку от меня девушка с зелёными волосами самозабвенно прыгала и скакала, кажется, третий час кряду. Похоже было, что никто не собирался спать; между тем, им, бездумно тратящим силы, предстояло провести на ногах, в той же тряске, ещё и весь следующий день: они собрались здесь со всей Германии на Парад любви.

Моих сверстников в своё время возбуждали более интеллигентные звуки (но ведь и то правда, что тогда и молодёжь была толковее, и вода мокрее, и снег белее); вот и сейчас старая женщина пыталась наложить на ритм «техно» джазовую мелодию. Эллы Фитцджералд из неё не получалось, но пела она грамотно. Я подумал, что через день, когда участники парада разъедутся восвояси, стоит зайти к ней, чтобы поболтать о прежней жизни; нам, я думал, найдётся что вспомнить.

В знак приветствия подёргав под сатанинский ритм плечами и отказавшись от предложенной кока – колы, я попятился назад, в тёмный коридор (между тем, на дворе быстро светало). Мне пришло в голову немедленно написать что –нибудь о доброй джазовой поре.

без музы, но в музее

Музы добры и редко оставляют своих избранников, разве что одалживают друг дружке, и если моя в последнее время не попадает на глаза, то вполне возможно, что она, шаловливая и капризная, просто прячется где – то рядом, наблюдая исподтишка. Могло, правда, случиться и так, что меня вдруг перепоручили другому ведомству и теперь не дева с янтарными глазами приоткрывает, для живописания оных, свои прелести, а стоит за плечом невидимый ангел. Во всяком случае, работа моя пока идёт, как шла, так что слишком беспокоиться о пропаже не приходится, и я даже усмотрел в новом одиночестве светлую сторону: разглядывая однажды себя после бритья, я трудным путём пришёл к выводу, что мне просто позволили немножко отдохнуть, ведь описывать одновременно два лица, особенно если при этом обладательница второго претендует на объятия, куда труднее, чем – одно – единственное. Как бы там ни было, а жанр автопортрета не иссяк, и знакомые изображения продолжают попадаться не только в зеркала; места для этого находятся самые неожиданные. Вот и Нью – Йорк не избежал...

До сих пор я дерзал пересекать океан только мысленно, и всё же, ступив наконец на американскую землю, немедленно обнаружил там свой след.

Обратный, след этой земли во мне, отпечатался давным – давно (так что ещё неизвестно, который из них вернее назвать обратным), и я теперь не изумлялся новым, диковинным картинам, а узнавал хорошо знакомые. Всё это было видано – перевидано, пристрастно рассмотрено на снимках в журнале «Америка», иное даже выучено наизусть, и наяву многое совпало с представлениями, и концы сходились, и в этом не было удивительного, а удивительное открылось в том, что советская пропаганда, описывая Штаты, не лгала. Нью – Йорк и впрямь предстал городом контрастов: и богатство прямо – таки сочилось из пор Манхэттена, и мрачные заводские территории походили на Путиловский завод начала века (двадцатого, конечно), каким я мог его себе вообразить по пролетарским романам, и джаз не захирел, как в Европе, и ужасало чёрное и гремучее, особенно на мой берлинский слух, метро, и попавшийся под руку служащий не ведал, где находится Россия, а знал только страну Европу, и не хотелось уходить из картинных галерей, и бездомные ночевали где попало. Один из них при мне устраивался на ночь на полу Пенсильванского вокзала прямо у ног полисмена, иные же... Скамейки на Пятой авеню, у Сентрал – парка им приходилось занимать загодя, и они засветло – нет, не ложились всё ж, а усаживались каждый на своей, до поры пристроив рядом тележки с постельными принадлежностями: коробками из толстого, мягкого картона, подушками, тряпьем. Я как раз спешил мимо, в седьмом часу решив пойти до музея Гугген-хейма пешком – и опасаясь, что он вот – вот закроется.

Посетители в музее, вероятно – из – за позднего часа, были расставлены так редко, что не могли бы переговариваться, и живую речь я услышал лишь поднявшись на два или три этажа: экскурсовод на русском языке просвещала двух мужчин, одетых вполне прилично, то есть никак не смахивающих на наших новейших богатеев, только которым и по карману заокеанские вояжи; я прислушался – нет, не просвещала, а беседовала будто бы на равных. Тогда подключился и я. Почти тотчас, затруднившись что – то объяснить клиентам и словно ища подмоги, она обернулась ко мне:

– Ну, вы – то знаете это, вы у нас не впервые.

Поленившись разуверять её и кивнув в знак согласия, я подумал, что узнать меня она могла лишь в том случае, если сюда добрался один из автопортретов; однако позднейшие его поиски в соседних помещениях оказались напрасными – рукопись, видимо, раньше висела на знаменитом спиральном балконе, который сейчас ремонтировался снизу доверху. В более мирное время портрет просто перевесили бы ненадолго в один из боковых залов, но я допускал, что мою несерьёзную физиономию сочли неуместною в эти печальные дни: после одиннадца-

того сентября минуло всего три недели. Наверно, мне стоило бы пересмотреть и последующие сюжеты, чтобы уже не писать больше одно и то же, хотя бы и в разных антуражах.

Тема недавней катастрофы казалась запретной: свежие развалины, под которыми ещё оставались тела, не могли соседствовать на полотне ни с какими писанными лицами. С другой стороны, не для прогулок же летел я в Новый Свет, а с намерением работать, и коли уж свет был новым, то можно было надеяться на какой – нибудь необычный материал. И в самом деле, балуясь со светом, можно достичь самых неожиданных эффектов, ведь с моделями в зависимости от освещения иной раз происходят странные вещи, когда вот и сеанс окончен, и драпировки убраны в шкаф, а выключишь лишнюю лампочку – и в новом свете вдруг предстанут совсем новые черты, прежний диалог станет неуместным, и всю работу придётся начинать сначала.

Ещё мечась по залам аэропорта в поисках пропавшего чемодана, я машинально вглядывался во встречаемых, но тогда собственный багаж занимал меня больше, и первые из запомнившихся лиц попались только позже – на фотографиях. В Квинсе, где я поселился, посреди крохотного скверика лежал валун, утверждённый там, быть может, в честь и память солдат второй мировой, а то и Гражданской войны; с лицевой стороны его закрывал лист фанеры с надписью от руки «Мы никогда не забудем» и десятком фотоснимков погибших в сентябре молодых улыбающихся людей. На земле среди свежих цветов горели свечи.

Подобные места были рассыпаны по всему городу. Ежедневно я проходил мимо огромного щита с такими же фотографиями, установленного возле Мэдисон Сквер Гарден, и видел, как и к этому, и к другим щитам то и дело кто – то подходил с цветком или со свечой, и лица всех этих подходивших выражали одинаковое недоумение, оттого что преступление было бессмысленным. Телевидение, однако, в эти же дни показывало, вызывая к состраданию, афганских детей, осиротевших или потерявших кров в итоге акции возмездия, – и упорно забывало показать хотя бы одного из двух тысяч детей американских, в одночасье ставших сиротами из – за того лишь, что какого – то варвара раздражило соседство с нашей культурой. Немного спустя другое телевидение в другой стране повалилось после терактов в Израиле показывать похороны не их жертв, а подстреленных террористов, словно подсказывая зрителям, по ком стоит скорбеть. Так и в России до сих пор на наших домашних экранах всё высвечивают то одного, то другого «бандита с человеческим лицом», маскирующегося под мирного пастушка, тогда как всякому нормальному человеку за каждым таким небритым пейзажином отчётливо видится козлиная морда его страшного вождя.

С этим что – то нужно было делать, и никто не знал, что, и я куда искал убежища.

Синяя пустота музея, обвитая находящимся в починке балконом, встревожила: тёмный объём был слишком велик для одинокого посетителя, озирающегося в надежде первым увидеть затаившегося за какою – нибудь стремянкой снайпера (всё – таки не самолёт из Бостона с пилотом – самоубийцей, а именно – зловредного стрелка), и только в боковых залах удалось выдохнуть задержанный в лёгких воздух: в этом затерянном мире, кажется, ещё не провели о кознях дьявола, и я помалкивал, чтобы не расстроить гармонию.

После сентября мне не пришлось изменять своих взглядов на зло и добро – они так и остались на отведённых им с детства местах, – однако я укрепился во мнении, что победить нынешнее зло человеческими и человечными способами невозможно и что накопившееся ожесточение мирных людей в конце концов обернётся каким – нибудь ужасом.

В убежище, среди картин, я вдруг показался себе человеком десятого числа, не чующим завтрашней атаки: окружавшие меня портреты совсем не походили на картинки с кладбища, расклеенные по Нью – Йорку, а музей Гуггенхайма – на мавзолей, вокруг и внутри которого могли бы совершаться недобрые ритуальные действия. Счастливо позабыв о только что оставленной мною простреливаемой площадке и узрев в перспективе анфилады юную парочку, я подумал, что лет сорок назад затащил бы очередную свою подружку (музу, разумеется) в подобное тихое место, чтобы нацеловаться вдоволь; если теперь это будто бы не возбраняется делать

где угодно, на юру, то нам тогда приходилось использовать для того же вокзалы, бурно прощаясь подле отправляющихся поездов. Мавзолеи, правда, и сейчас не место для шёпотов и объятий, даже этот, в котором я что – то не разглядел могилы предводителя, хотя и приходил сюда, оказывается, не один раз. Но не спрашивать же было о ней экскурсовода.

– Видите, как вырождается этот жанр? – испытующе глядя на меня, спросила она.

Глупо отозвавшись на вопрос вопросом, и оттого смутившись, я узнал, что она имела в виду автопортреты.

– Зеркала будто бы не стали тусклее, – смущённо пробормотал я, из лени умолчав о том, что наш предмет вполне может сохраниться и не в живописи, а в прозе, и оставив при себе догадку о подозрительности модного интереса к зазеркалью.

– Я разбила одно, – призналась она. – Утром одиннадцатого.

Уже немолодая, женщина была верующей, но мне не по силам оказалось убедить её в грешности суеверий: выдумав за собою вину, она упорствовала; между тем никто из её близких не был в то утро в башнях, да и целых зеркал оставалось в доме столько, что впору было зазывать проходящих мимо самовлюблённых портретистов.

– Но что вы сказали о вырождении? – запоздало откликнулся на давешний вопрос один из её подопечных. – Только что здесь мне попался совсем свежий.

Он готов был вести показывать.

– Время нынче не то, – поддержал я экскурсовода. – Столько вокруг боли (да вы же из России, не мне вам рассказывать), что становится уже не до любования собой. Вам наверняка известна мысль: не писать стихи после Освенцима...

– ...значит признать *их* победу, – тихо возразила женщина.

С нею согласились все, понимая, что отныне ничто в мире, даже поражения, больше не будет выглядеть по – старому.

мой, но – другого человека

Живописцы, наверно, считают иначе, но писатели обращаются к автопортретам часто не от хорошей жизни, а оттого, что не могут сыскать доброго сюжета для иной работы; тогда только и остаётся что сесть перед зеркалом. Тем не менее потом, написав себя (или о себе), они радуются ничуть не меньше, чем могли бы, закончив обычную вещь.

В течение жизни можно написать и несколько, и много автопортретов, и вообще одни их и писать, почему бы нет, однако настоящее удовольствие удастся получить только от первого, оттого что облик изображённого там человека, распоряжающегося вашей судьбой, предстанет совершенною неожиданностью. В более поздних радость открытия вытеснится огорчением от того, как портится с годами характер автора, и вы чем позднее, тем больше внимания будете обращать на фон; выбирать его будет с каждым разом всё труднее, зато может вдруг подвернуться такой, что прежде был немыслим: например, музей на Манхэттене. Кстати, именно там меня предупредили о вырождении жанра, и впервые своего зрителя я увидел там же, хотя искать его следовало бы скорее по библиотекам – дома, в Москве: если музе пристало летать за мною по всему свету, то его – то никто не обязывал... Однако и дом у меня нашёлся теперь совсем в другом месте, и жанру пришло время изменить: он стал требовать невозможного, отчего предметы, свойственные заднему плану, оказывались впереди, а пейзажи засорялись лишними людьми.

Писательский дом в Дубулты уже несколько лет как был то ли заброшен, то ли разрушен, то ли продан чужим – слухи в наших краях ходили разные, – но в любом случае прежним постояльцам вход туда был заказан. В каком – то смысле это оказалось даже и к лучшему: теперь я мог поехать по миру; минувшим летом, например, я очутился на острове по дальнюю сторону Европы. Тамошние камни выглядели поживописнее балтийского песочка да только не пригодились как фон: мне совсем неожиданно открылась несовместность автопортретов и моря, отразиться в воде которого не удавалось ещё никому; иное дело, если живёшь у пруда или тихого лесного озера и можешь любоваться на их водной глади перевёрнутыми деревьями и деревнями, а подойдя поближе и склонившись – собственным лицом, и без того перевёрнутым. Меня же занесло на морской остров, лишённый не только прудов, но самого жалкого ручейка; вечная пена прибоя не оставляла надежды.

За неимением тихой воды пришлось, приостановившись, посмотреть в стекло витрины. Моё отражение забавно повторилось очерком манекена; тот, правда, был одет иначе, и сравнение вышло в его пользу:

я бы сейчас тоже сменил брюки на лёгкие шорты, но для этого пришлось бы возвращаться в отель.

– Потерпим, – махнул я рукой, и манекен нагнулся поближе:

– Что вы сказали?

Поистине, следовало переодеться: от перегрева могло померещиться ещё и не такое.

Как бы там ни было, но в наших чертах нашлось столько общего, что трудно было отделаться от впечатления, будто в стекле отражается одно лишь моё, но – двоящееся лицо; сообщить, что я просто – на просто вижу стоящего рядом со мною на тротуаре человека, удалось не сразу. Поняв, что с жарой шутить нельзя, и что витрина без манекена принадлежит крохотному кафе, я решительно шагнул внутрь, чтобы заказать колу со льдом. Человек в шортах остался на улице – для того, наверно, чтобы я окончательно перестал считать его своим зеркальным портретом и не попытался причесаться, глядя на чужую растрёпанную ветром шевелюру.

Раньше я слышал, что такие встречи не приносят счастья. Но деться было некуда, эта – уже произошла.

Теперь уже можно было не бороться с болезненным двоением глаз, не совладавших с солнечным светом: я смотрел из глубокой тени. Человек по ту сторону стекла не мог бы разглядеть меня, я же с каждой минутой всё больше убеждался, что моё зрение тут ни при чём, я и в самом деле видел его прежде – хотя бы при бритье. Он закурил, и я, обнаружив, что он левша – я же бывал левшой только в зеркалах, – глупо подумал, что в здешнем левостороннем движении он должен чувствовать себя как рыба в воде.

Питьё немного освежило – достаточно для того, чтобы перестать понимать, отчего я вдруг разволновался; теперь меня занимал неожиданный вопрос: чем может оказаться двойник писателя – тоже писателем? Если внешность, как говорят, в точности отвечает нашему внутреннему устройству, то нечего и спрашивать, мой абсолютный двойник должен был бы скопировать не только овал лица и форму носа, но и особенности ума, и наклонности, и оказаться не просто коллегой, но автором копий всего, сочиняемого мною, – писать то же самое, слово в слово; смысла в этом не было, а была перспектива вечных споров из – за авторства. С другой стороны, природа, склонная, как известно, к шуткам, могла предложить в качестве двойника и полного моего антипода: читателя. С ним начались бы свои трудности – нет, не надуманное противопоставление наших занятий, оно – то пошло бы только во благо, а то неудобство, что всё, для меня белое, для него было бы чёрным и мы не сошлись бы в главном – в понятиях добра и зла, Бога и дьявола. Меня что – то не тянуло к такому двойнику.

Единственные в кафе два столика были составлены, почти вплотную, углами один к другому, так что можно было, сидя за – разными, оказаться с кем – то в самом прямом смысле плечом к плечу; примерно так и получилось у меня с тем, кого я, так пока и не рассмотрев подробно вблизи, склонялся называть двойником; соскучившись, видимо, ждать, он зашёл в помещение и, повторив мой заказ, устроился за свободным столом.

– Вы – Вадим, – не выясняя моих возможностей, а сразу по – рус-ски, заявил он.

– Вы, надо понимать, тоже, – брякнул я (потому что как же ещё могли звать моего двойника) – и не угадал: мною он не был и упустил удобный случай стать, когда в Москве к нему бросилась с раскрытыми объятиями женщина – моя, как выяснилось, знакомая.

– Неужели такое сходство? – деланно усомнился я.

– Такое ли, нет ли, да только если уж обозначилась любящая девушка...

– Вы не догадались спросить номер телефона? – пробормотал я, понимая, что если – да, то они могли продолжить знакомство – вплоть до самых замечательных сцен, именно тех, каких не бывало между нами. – Мы потерялись.

– Потрясающей красоты дама. Жаль, что я не решился сыграть вашу роль. Она ведь было не поверила отказу, а продолжала говорить как бы с вами: что – то о стихах, о сонетах, о венках.

– Это её тема, – объяснил я. – Она ведь муза.

– Все они музы время от времени.

– Эта – ещё и по паспорту, бессрочно. А вы, я вижу, далеки от искусств.

– Искусств! Надо зарабатывать на хлеб.

Нельзя было удержаться, чтобы не поддеть:

– И на коньячок. Думаю, недёшево приехать сюда из России.

– Вы думаете... Сами разве не оттуда же?

Мне показалось странным, что Муза не просветила его, и я неохотно объяснил, что живу неподалёку. Затем пришлось сказать и о своих здешних занятиях – о том, что работаю по специальности; там, у них, похвалиться этим мог далеко не каждый, и мой двойник, имевший диплом военного инженера, не был исключением. Теперь он торговал каким – то сырём – даже получая, как он заверил, от этого своеобразное удовольствие.

– И ещё... – он замялся, – консультирую.

– Ну, консультант – то у нас был только один.

Он явно не знал, о ком я, но не стал переспрашивать, а я, сопоставив силы, признался:

– Мне бы там не выжить.

– А вы говорите – сходство, – словно бы попенял он. – Ламброзо пусть отдохнёт.

– Позвольте, я пересяду к вам.

Оказавшись наконец лицом к лицу и собираясь сравнивать, я был смущён неожиданным открытием – тем, что для сравнения не нашлось предмета: я не помнил своей внешности настолько, чтобы суметь разобрать её по чёрточкам: не знал на память, какие у меня уши, глаза, рот, не представлял себе, что особенного в губах, в улыбке, разве что мог назвать число коронок – но этого как раз и не требовалось. Обычно, бреясь, я видел в зеркале только свою кожу, причёсываясь – волосы, но не обращал внимания на их окрестности; весь облик целиком меня будто бы не интересовал, и я знал на память не эти ежедневные отражения, а лишь старые автопортреты. Но и среди них не было двух одинаковых.

– Вижу, вы не верите своей знакомой на слово, – заметил он, недовольный моим чересчур пристальным взглядом.

– Слово музы? – насмешливо вскричал я в ответ, одновременно спрашивая себя, имеет ли та, даже расставшись с поэтом, право на слова, и отвечая, что, увы, имеет, а если и не имела бы, то, всё равно, без её выдумок я – ничто, и двойник в этом случае тоже оказывается никем: нуль на нуль равно нулю, и тому же равен человек, вышедший из зеркала, в котором отражён. Никто, в котором никто не отражён. Подобия не всякий раз приходятся ко времени и ко двору, и тот, кто прочтёт у Борхеса, будто зеркала отвратительны, потому что умножают количество людей, пусть не спешит отвергнуть или опровергнуть эту необычную мысль. Я бы распространил её и на автопортреты.

Пейзаж в окне напротив

Поехав вечером в чайный магазин, в котором давно уже не бывал, Пётр поразился виду знакомой улицы – неубранной, с тёмными витринами и с чёрным бугристым льдом на тротуарах; была оттепель, и дикие автомобили окатывали зазевавшихся прохожих солёной жижей. Можно было подумать, что вместо центра столицы Петра занесло в глубокое захолустье. Собственно, нового в этом не было, он привык жить в опустившемся городе и словно бы не замечал ничего вокруг, но сейчас понял, что, уехав наконец навсегда, не станет тосковать об оставленном – напротив, будет гнать от себя воспоминания о здешней тоске, символом которой вполне может послужить эта бесснежная, чёрная Мясницкая; вообще, ему казалось, что в памяти останется только единственный образ – чернота. В перемены к лучшему больше не верилось, и от повседневной фантазмагии Пётр отдыхал лишь вечерами, в одиночестве, тем более, что из окон своей квартиры видел не городскую застройку, а парк, за старые деревья которого спускалось солнце; колдобины на дороге были неразличимы с его этажа. На подоконнике всегда лежал полевой бинокль, через который он часто смотрел на гуляющих детишек, а то и на девушек, не подозревающих, что за ними наблюдают издали. Пейзаж, однако, менялся, и со временем Пётр незаслуженно лишился своего невинного развлечения: внизу устроили какую – то возню, езду грузовиков и тракторов, размесили грязь, и мало – помалу, загородив собою и парк, и закаты, вообще – три четверти неба, перед окном поднялась стена бездарного здания.

Дом построили с досадной быстротой, и, скрываясь от нечаянных соглядатаев, Пётр жил теперь за спущенными шторами – не только когда ложился спать или когда приходили женщины, но и, особенно даже, если работал за письменным столом: при этом он не терпел ничьих взглядов. Прежде он, вставая поразмяться, непременно подходил к окну – отвлечься, помечтать, – но эту привычку пришлось оставить, оттого что новая стена, школярски расчерченная на квадраты с квадратными же дырами посередине, вызывала у него стойкое уныние, особенно в тёмное время, после того, как там дружно сдвигались занавески, за которыми не угадывалось больше никакого движения, так что впору было усомниться, живут ли там люди.

Они там жили, и однажды вечером Пётр, распахнув, при погашенной лампе, раму, увидел перед собою девушку. Свет у неё горел слабый, а расстояние было всё – таки приличным для невооружённого глаза, так что многие мелочи Петру пришлось домыслить, а другие остались неразгаданными, например, странно подвижный зелёный фон за девичьей спиной. Чтобы остаться незамеченным, он отступил в глубину комнаты, тогда как девушка принялась неторопливо снимать с себя одежду, всего – то состоявшую из трёх вещей – майки, джинсов и трусиков; сбросив последнее, она с удовольствием потянулась. Пётр отчаянно жалел, что за ненужностью давно спрятал куда – то свой бинокль. Он стыдился того, что подглядывает, как мальчишка, но и отворачиваться от ослепительного портрета в интерьере казалось глупостью; впрочем, об интерьере он подумал с некоторой заминкой, заподозрив в общей картине какую – то несуразицу. Ему немедленно требовалась оптика, и Пётр лихорадочно называл в уме самые невозможные для хранения места, пока вдруг не вскрикнул, вспомнив: галошница! Он стремглав помчался в переднюю – бинокль и в самом деле покоился среди старой обуви.

Мнение Петра о прелестях девушки останется при нём, заметим лишь в скобках, что и он – не камень; в то же время его пристрастное отношение к предмету вряд ли повлияло на ход событий. Началось с того, что девушка боязливо попробовала ногой воду и нашла её достаточно тёплой, хотя мало ещё кто купался об эту пору. Осторожно, не зная, видимо, дна, она пошла вперёд и вдруг, решившись и набрав воздуха, окунулась с головой, подняв брызги – возможно, и поплыла, только теперь Пётр не видел её из – за подоконника. Ему ничего не оставалось как изучить обезлюдевший пейзаж, зачатки которого встревожили его поначалу. Перед ним был крутой заросший берег; против заходящего солнца плохо было смотреть. Но Пётр

всё же разглядел сквозь редкую майскую листву добротный рубленый дом на лужайке. Изображение застыло, как на фотографии, и нужно было дожидаться возвращения купальщицы, но солнце село прежде того, и Пётр перестал различать что – либо.

Глядя на тёмные стекла напротив, Пётр потряс головой; как – то непохоже было, чтобы он спал.

– Я – то сетовал, что мне закрыли вид! А тут закат проходит насквозь, – воскликнул он наконец, но эти слова не отразили его смутения, и вообще не слишком соответствовали его мыслям.

Подождав ещё немного в надежде на какие – то изменения, Пётр смирился с тем, что сегодня больше ничего не покажут, и принялся за свои привычные занятия.

Назавтра он проснулся в прекрасном настроении, но и с лёгкой грустью, как и всегда после приятного сновидения, подробности которого начинают ускользать; только увидев брошенный в кресло бинокль, Пётр понял вдруг, что всё, вспоминаемое им сейчас, случилось наяву. Бросив взгляд на противоположный дом, он нашёл нужные окна занавешенными и, усмехнувшись, сказал себе, что вовсе не ждал увидеть никаких знаков на освещённой солнцем стене, что накануне, видимо, перетруился и чересчур распалил воображение, что такое, как с ним, и со всяким приключается хотя бы раз в жизни и что раз в жизни любая девушка может, раздеваясь, оставить окно открытым.

В конце дня у Петра были гости, и ему пришлось отложить обычную работу и расслабиться. Произошло это без подготовки, просто позвонили два старых друга и почти тотчас появились с бутылками и снедью, и он, подсадовав было на помеху своему распорядку, скоро сказал себе, что и в самом деле устал и только ждал подобной оказии. Накрыв стол не по – холостяцки, а сервировав его, несмотря на возражения друзей, по всем правилам, Пётр сознательно допустил единственное нарушение, поставив под водку не рюмки, а стаканы, в каких подают виски со льдом; наполнив их изрядно, почти до половины, он провозгласил:

– Уравняем интеллекты.

Уравняв, они неторопливо закусили дешёвой колбасой, и один из гостей не удержался от замечания:

– У них там так не пьют.

– Но у них и едят не так, – возразил второй.

– Не хлебом единым...

– Но и одним только хлебом, потому что нам не достать другой пищи. Слава Богу, что хоть как – то полегчало – с духовной.

– Тоска, – сказал первый.

– А там – ностальгия.

– Но что такое ностальгия? – задумался Пётр. – В сущности, это тоска по местам своей молодости, но они недостижимы и здесь, потому что изменяются вместе с тобой.

– Если бы мы были нужны здесь! – с горечью воскликнул первый гость. – А мы тратим жизнь на стояние в очередях. Представь Моцарта, который вместо того, чтобы писать музыку, уже зазвучавшую где – то там, внутри, стоит в хвосте за перловкой! Это не то, что слушать скрипача слепого! А у нас почти всякий талант нищенствует. Это становится почти профессией.

– Значит, из – за куска сыра? – печально спросил второй. – Спой, светик, не стыдись.

– Налей – ка ещё.

– Слишком высокий темп, – покачал головой Пётр, всё же наливая. – У них там так не пьют.

– А мы – будем? – спросил один из друзей, а другой одновременно с ним сказал другое: – Вот и давай пить, пока можно. Никто и нигде нас не ждёт. Дружба, знакомства, связи – возможны лишь здесь, и наши честолюбивые мечты и наши блестящие идеи останутся витать

никому не заметными флюидами в воздухе, Бог даст, какого –нибудь деревенского погоста под славным осенним дождичком.

– Но и такой погост возможен – не там.

Начавшись в такой минорной тональности, случайная пирушка грозила превратиться в горькую попойку, когда бы сотрапезники исподволь не подвели друг друга к тосту, который с первых минут держали в уме – за отсутствующих дам, – немного просветлившему души. Их потянуло к приятным воспоминаниям и лёгкому хвастовству. Хозяин дома тоже поддался общему настроению, хотя, единственный из трёх, был в последнее время по – настоящему одинок, расставшись с женщиной и не имея пока желания и видимой возможности прибиться к какой –нибудь другой; он пока ещё находил в своем новом положении больше преимуществ, чем неудобств.

Проводив потом гостей до метро, Пётр с удовольствием вернулся в пустую квартиру, зная, что теперь никто не помешает ему провести остаток вечера по своему усмотрению – на диване, за письменным столом, перед проигрывателем или в ванне. Но, заперев за собою дверь, он вспомнил о вчерашнем, испугался, что опоздал, и, подбежав к окну, рывком откинул штору: перед ним снова был женский портрет на фоне пейзажа.

Пётр, естественно, ожидал, что сюжет если и будет развиваться, то в том же времени, в каком пребывал он сам, и пусть бы оптические эффекты наблюдались сами по себе, но ничего не могло быть проще, чем познакомиться с девушкой, живущей почти окно в окно с ним. То, что он увидел теперь, озадачило его: листва в чужой комнате поредела, обозначая смену весны, через сезон, сразу на осень; деревянный дом, к тому же освещённый внутри, стал виден совсем хорошо. Строго и старомодно одетая девушка прохаживалась по берегу невидимой реки, словно барышня в кинофильме из старинной жизни. Окончание купального сезона не огорчило Петра, и без того навидавшегося обнажённой натуры; в мыслях у него было другое: ему хотелось выяснить природу странных живых картин – девушка наверняка помогла бы ему в этом, но он не знал, как сию секунду связаться с ней, ни разу не взглянувшей в его сторону. Спустя минуту её, очевидно, окликнули из дома, и она, глянув туда, а потом, всё –таки, на Петра и кивнув головой так, словно позвала его, поспешила скрыться внутри. В доме её ждала пожилая пара, занятая укладыванием одежды в кофры и коробки. Окно было достаточно большим для того, чтобы Пётр увидел, как богато обставлена комната, где происходили сборы: он отметил и старинную люстру, и камин с фарфоровыми часами, и китайскую вазу. Девушка остановилась на пороге. Судя по жестикеляции действующих лиц, старшие недоумевали, отчего она не участвует в общих хлопотах; девушка слушала молча и вдруг, увидев что –то лишнее в кофре, выхватила это оттуда и, разворачивая свёрток на ходу, унесла в глубины дома. Вернулась она с виноватым видом, но ей не попеняли на поступок и она сама стала доказывать что –то, довольно горячо, то и дело указывая на окно (получалось, что –на Петра), словно не была согласна с общим отъездом. «Не хватало только, – улыбнулся Пётр, – чтобы тут заколотили какого –нибудь Фирса».

Затем действие перенеслось в дальние, недоступные биноклю помещения, а в этом погас свет.

Судя по всему, на следующий день Пётр мог увидеть в загадочном окне снежные сугробы у покинутого дома, и, значит, если он хотел познакомиться с девушкой и раскрыть её тайну, это нужно было сделать немедленно. Вычислить номер её квартиры не составляло труда, но он решил не наносить визит, а написать письмо. Тут сразу возникли трудности с обращением: никакие «уважаемые господа» или «леди и джентльмены» не казались ему подходящими для дружеской записки; впрочем, другие строки дались не легче, и рождённое в муках дитя не выглядело красавцем:

«Дорогие соседи!

Прожив долго бок о бок, я не имел чести быть представленным Вам, более того – не ведал о нашем соседстве. Нечаянно мне стало известно о Вашем намерении оставить Ваш чудесный уголок. Я понимаю, что с этим связаны как естественные переживания, так и обычные бытовые трудности. Не считите за дерзость предложение участия с моей стороны в обоих случаях, то есть утешения и физической помощи.

Искренне расположенный к Вам Пётр Евланов».

Столь важное и срочное послание он не смел доверить черепашьей неряшливой почте, а чуть свет сам опустил его в почтовый ящик соседей. Ответ не заставил себя ждать: уже в полдень Пётр держал в руках диковинный конверт с почтовым штемпелем, на котором ничего нельзя было разобрать, кроме даты. Загадав, что если текст будет написан женской рукой, то из страны они уедут вместе, он дрожащей рукой достал сложенный втрое листок. Машинописный текст гласил:

«Дорогой Пётр Евланов, весьма признателен за Вашу горячую готовность помочь в хлопотных и спешных сборах. Тронутый Вашим вниманием, я, вероятно, огорчу Вас сообщением о том, что не только малейшие приготовления в дорогу закончились накануне, но и машина подана, и в момент чтения Вами этой записки мы будем далеко от Ваших краёв. Искренне сожалею, что нам не довелось встретиться.

Искренне Ваш М. Кронин, эсквайр».

Пётр невольно поднял глаза на окно: не верилось, что за аккуратными шторами скрывается брошенная квартира – никто не уезжает навсегда, оставив дорогие занавеси. Подумав, что они, возможно, поручили кому – то охранять дом, он быстро спустился на улицу, вошёл в уже знакомый подъезд и поднялся в лифте. Перед дверью лежал плетёный коврик – такой тоже никто бы не стал бросать. Пётр нажал кнопку – звонок прозвучал довольно резко, но на него не спешили отзываться. Позвонив ещё несколько раз, он уже собирался уйти восвояси, когда из соседней квартиры вышла немолодая расплывшаяся женщина. Пётр мгновенно обернулся к ней, спрашивая, не здесь ли живут Кронины. Почувствовав, как в ожидании ответа забило сердце, он удивился себе: что ему до судьбы этой чужой семьи, если квартиру скоро займут новые жильцы, а пейзаж в окне останется прежним? В последнем он, впрочем, не был уверен.

– Давно их не встречала, – ответила женщина.

– Сдаётся, будто они съехали вчера вечером, – подсказал Пётр. – Это правда?

Она покачала головой:

– Я бы заметила. Сами подумайте: эти грузчики, брань, топот. Нет, только не вчера.

Пришлось послать Крониним ещё одно письмо. Теперь Пётр нетерпеливо ждал сумерек. Работа, естественно, не шла на ум; он говорил себе, что дважды виденная издали девушка не интересуется его, но понять феномен пейзажа считал своим долгом. Он сейчас дорого бы дал за возможность увидеть странную комнату при дневном свете, но шторы были непроницаемы; вряд ли и вечером найдётся кому раздвинуть их. «Вот и останется, над чем ломать голову до гробовой доски, – грустно заключил он и, как и ежедневно, проговорил про себя американскую поговорку: – А ведь сегодня первый день твоей оставшейся жизни». Ему неизвестно было, где он проведёт её, оставшуюся: отъезд был решён и нужные документы лежали в кармане, а Пётр всё откладывал последний шаг – не из – за тяжести разрыва, а из – за нынешнего труда, который намного быстрее мог бы закончить там, в зазеркалье, но который мог бы пригодиться людям только здесь. Не он один испытывал такие затруднения – вот и те друзья, что провели у него прошлый вечер, и они балансировали на пороге, понимая не только то, что дома не ценят их талант, но и то, что в чужой земле придётся распорядиться последним по – новому – либо не распорядиться вовсе.

Вчерашнюю пирушку Пётр вспомнил совсем не случайно: он внезапно так упал духом, что теперь ему казалось, будто лишь её повторение может поправить дело. Колебался он недолго.

– Однова живём, – сказал он по телефону одному из тех двух.
Тот не стал спорить против очевидного.

– Нас уже двое, – сказал вскоре Пётр второму.

За столом Петра подмывало рассказать им о своем несостоявшемся приключении, но он думал, что ему не поверят или, поверив, посмеются над взрослым мужчиной, исподтишка подглядывающим за девочками; он ничем не мог бы подтвердить свой рассказ, оттого что сюжет с отъездом был исчерпан.

– Я сегодня не пью, – предупредил первый.

– Всё ясно: ты – за рулём, – съязвил Пётр. – Управляешь страной.

– Да и я, пожалуй, ограничусь одной рюмочкой, – поддержал товарища второй гость.

– У нас так не пьют, – не сдавался Пётр.

– Пора переучиваться.

– В чем загвоздка, господи? – спросил Пётр, имея в виду совсем другое.

– Кто нас гонит?

– Кто нас держит?

– Мы там будем чужими.

– Мы и здесь не свои – мыслящие муравьи под стеклянным колпаком у плебея.

– Выпьем за муравейник на свежем воздухе.

– За это выпью и я.

Пётр нарочно не задёргивал свои шторы, но другие, по ту сторону проезда, были темны и глухи.

– Как ты поступишь со своим трудом? – спросил первого гостя Пётр.

– Уже поступил, – недобро засмеялся тот. – Закончил ночью – и съёл утром.

– Боже мой!.. А ты? – почти умоляюще спросил он второго.

– Это будет видно недели через две, когда поставлю точку. Но боюсь, что я окажусь слабее (или разумнее?) – оставлю его в надёжном месте до лучших времён.

– Как и я, быть может, – словно оправдываясь, сказал Пётр. – Всё – таки, на это ушло два года жизни.

«Нет, не стоит им рассказывать, – решил теперь Пётр. – Я, видимо, болен: эти ожидания, эти унижительные хлопоты, это одиночество, эти мальчишники... Надо проверить неоднократно, и я знаю, как... Если только не поздно: поди, сыщи, куда укатил этот эсквайр».

– Быть может, я сумею вывезти рукописи с собой, – задумчиво проговорил он.

– Простой ты, Петя, – засмеялся первый из друзей. – Простой, как песня.

– Вывези хотя бы голову, – посоветовал второй.

Их мужские посиделки давно уже сводились к проведению времени, оттого что всё важное было решено, мелочи обговорены и мосты сожжены. С другими, с теми, кто оставался в несчастливой стране, им постепенно стало неинтересно встречаться, они жили теперь если пока и не в разных мирах, то с разными взглядами на единственный знакомый мир – вплоть до полного непонимания друг друга. У Петра почти не осталось вещей, которые для него что – нибудь значили бы здесь; к числу их, немногих, теперь прибавилось окно напротив.

Окно засветилось и в этот вечер, словно ничего не произошло накануне. Простой глаз по – прежнему различил только крупные цветочные пятна и ясно было то лишь, что взгляду открылась не обстановка жилой комнаты, а нечто иное; это могли быть и фотообои на голой стене, и даже изображение с наружной стороны штор. Бинобль же показал безотрадную подробную картину: Пётр разглядел знакомую лужайку, искорёженную гусеницами, и груды мусора на месте дома.

Теперь Пётр сделал то, что должен был бы сделать в первый же вечер: несколько раз сфотографировал пейзаж аппаратом с телеобъективом. Когда стемнело и наблюдение стало невозможным, он приступил к проявлению; удивительные результаты этого не были для него

неожиданными: на снимках он увидел комнату с низким потолком и дешёвыми обоями, всю мебель которой составлял пустой книжный шкаф в углу; освещалась она сиротливой лампочкой на коротком шнуре. И всё же, разглядывая свои заурядные фотографии, Пётр ощущал чьё – то присутствие в изображённой комнате; казалось, что, подержи он снимки в ванночках подольше, на них непременно проступило бы чьё – нибудь лицо, и он даже знал наверно, чьё – не знакомой уже девушки, а будущего хозяина жилья, обритого наголо юноши с безумными глазами.

«Пить надо меньше», – сказал себе Пётр.

Наутро ему вернулось его собственное письмо с пометкой о выбытии адресата, но вовсе без штемпеля. Теперь в истории если и оставалось что – либо существенное, не понятное Петром, так это необходимость сноса крепкого дома; прочие неизвестные – имена и географические названия – больше не имели значения. Тем не менее, ему хотелось оставить себе о ней какую – то память – конечно же, не снимок бесхозной московской комнаты (скоро и его квартире предстояло стать таким же пустым скворечником).

В этот день окно напротив открылось позднее обычного, когда Пётр уже решил было, что его наблюдениям пришёл конец. Бинобль предъявил ему всё ту же картину разорения, но теперь и здесь чувствовалось чьё – то присутствие, неведомое предвестие движения. Подождав немного, Пётр увидел приближающегося мужчину. Вскоре стало возможным и различить черты: это Пётр подходил к развалинам.

Носком сапога он пошевелил обломки – под кусками дерева и штукатурки попадались пустячные уцелевшие предметы: парфюмерные флаконы, пустая рамочка от фотографии, чайное блюдце. Пётр поднял было нательный латунный крестик на гайтане и хотел оставить себе, но вспомнил, что носить чужой крест – не к добру: кто знает, какое бремя ты взваливаешь на душу. И тут он увидел то, что искал – перочинный нож. Пётр осмотрел его – нож легко открывался и был хорошо заточен.

Он долго стоял, рассматривая вещичку со всех сторон. Солнце, между тем, стремительно западало.

Ночная жизнь Китежа

Исход из столиц в глухомань (считалось – к истокам) увлёк в последние месяцы стольких, что мог казаться модой; между тем сниматься с насиженных мест людей толкала всего лишь та или иная нужда: одни бежали от нищеты, другие – от разбоя, кто – за длинным рублём, а кто – за вольною волей, встречались тут и гонимые, и искавшие признания заслуг либо внимания к своим пророчествам, но большинство – просто хотели стать провинциалами. Об этом Лобунин слышал так часто и много, что когда и его, в отвлечённых рассуждениях тоже находившего вкус в звании, например, китежанина, но всё ж предпочитавшего на деле оставаться столичным жителем, вынудили к отъезду, он уже не счёл чрезмерною эту перемену; к тому же, перемены тотчас обнаружались в нем самом, в виде хотя бы новой привычки без надобности, словно от повреждения в уме, называть вслух имена существительные, некими списками, вовсе без сопровождения глаголами: древность, совесть, юродство... Знакомые, видя, что он придаёт этим словам вполне мистическое значение, стали говорить об его изгнании с пренебрежением: шуку, мол, бросают в реку. В действительности, однако, всё было не так просто, и, вступая в незнакомый город, Лобунин растерялся: он ожидал увидеть глушь, но не такую же, тем более, что кое – какие местные виды знал по иллюстрациям и кино; выйдя на соборную площадь и найдя её непривычно пустою, он нечаянно воскликнул в изумлении: «А где же массовка?»

Первый день на новом месте, как водится, проходить не торопился, и всё же Лобунин, расслабившись после дороги, опоздал с одним важным делом: не получил денег по дорожному чеку; дожив до сумерек, когда всё вокруг замерло в ожидании замечательного здесь явления природы, он от предчувствий и вовсе взвыл в полный голос: «Боже, до чего довела меня любознательность!» – хотя и любознательность была тут ни при чем, и жилище оказалось не хуже, чем он ожидал, представляя собою в меру убогий номер гостиницы «Садко» в том её крыле, что предназначалось не для богатых гостей, а для переселенцев, приглашённых городской управой будто бы для обретения свободы и достоинства, а на самом деле – для пополнения убывающего поголовья. Приезжие, соблазнённые посулами, искали здесь ощутимых вещей; за дивными местными пейзажами не приезжал никто, и если в дальнейшем Лобунин, забывшись, указывал на нечто приятное зрению или слуху, то обыкновенно встречал непонимание и даже отпор. Во флигеле, свысока именуемом прислугою приютом, естественно было бы найти изрядное общество, но Лобунин в первые часы своей новой жизни усомнился в существовании по соседству хотя бы единой живой души – такая стояла неприятная тишина, – отчего впал в настоящую панику, предположив, будто прочие отчаянные и отчаявшиеся люди, чей путь он намеревался повторить, сумели взятками или иными неправдами избежать отправки в это гиблое место, осев теперь в пристойных городах с трамваями, с протекающими в дождик цирками шапито на окраинах, со сплетнями в лавках и даже с ночными уличными происшествиями и оставив его, Лобунина, без надежды на поддержку хотя бы советом или примером. Он живо представил себе долгие будущие дни, когда работа валится из рук, а рядом нет его старого пса, любившего, если хозяин слонялся по дому без дела, усаживать того за письменный стол и самому ложиться рядом, и сырые ночи в полном одиночестве, и вечера – в общении с туземцами (те, известно, были молчаливы, как рыбы, и Лобунин думал, что нескоро научится понимать их подводное молчание, а тем паче молчать сам), а представив это – взвыл.

Тем не менее, объявиться сейчас незнакомцу, пусть и товарищу по несчастью, было бы некстати: брошенному нет проку от брошенных; если Лобунину и нужно было что – то от других, так только объяснения, куда и как можно здесь податься, чтобы развеять тоску. Упустив время до появления воды, когда ещё был открыт подъезд, он уже не мог перейти в главный корпус, где давеча, получая у портье ключи, заметил стопку проспектов «Ночная жизнь Китежа», но глупо постеснялся взять себе один. Без советов путеводителя нелегко было бы придумать

развлечение, кроме, пожалуй, простейшего: выглянув в окно, Лобунин увидел стайку прехорошеньких русалок, направлявшихся ко входу в гостиницу; он ещё успел бы постучать в стекло. Впрочем, ему пока был недоступен и этот способ: оставшись без денег, он мог бы расплатиться с русалкой разве что чулками, неведомо как оказавшимися в его чемодане. Теперь уже посмеиваясь, он подумал, что вот – случай завять снова, только что толку – без отклика; на людях же он постеснялся бы и, значит, опять выходило всё то же: лишь собственная собака поняла бы его, начав не подпевать вторым голосом, но – утешать.

Уже безо всякой иронии, а серьёзно, Лобунин попытался представить себе, как пёс отнёсся бы к русалкам: мог и не принять за людей. Он и сам считал их созданиями пусть и не богомерзкими, но явленными на свет помимо Божией воли; сущая ныне живность вышла некогда из ковчега, где находилось от всякой плоти по паре, но этим, здешним, как раз пар и не хватало. Возможно, их предки вовсе не поднимались на борт, а просто плыли за судном, либо их прародительницу сбросили с палубы за понятную провинность и она спаслась, попав в рыбу семью, – так с печалью подумал Лобунин; с печалью – оттого что снова вспомнил о собаке, словно бы сброшенной им со спасательной шлюпки, проходящей из – за тесноты на подводную лодку, но в конце концов уткнувшейся в берег, где хватило бы места для тысяч пар.

Со псом всё было непросто: не будь его, не пришлось бы убежать и Лобунину. Началось с жестокого отстрела в городе собак – не только бродячих; мало кого удивляло то, что иной раз следом пропадали их хозяева. Некоторое время Лобунин ещё поиграл с властями в казаки – разбойники, но скоро неравная игра стала слишком опасной: всё чаще неприятности стали приключаться даже с теми собачьями, которые избавились от своих питомцев: их находили то ли по загодя составленным спискам, то ли по доносам. Ему пришлось скрыться, оставив собаку добрым людям в деревне, куда ещё не докатилась новая волна.

Пса он так и звал – Пёс, вопреки записанной в паспорте вычурной кличке; для него это и впрямь была собака с большой буквы, собрание всех собачьих и лучших человеческих черт – существо, с которым можно говорить по душам. Лобунин заранее рассказал ему об отъезде, ничего не утаив, – и тот, поняв и простив всё, стал увлекать хозяина на прогулки в места, связанные со своей молодостью, а позже по разным причинам оставленные вниманием: приходил туда и, огромный зверь, сидел в задумчивости, наблюдая и вспоминая – прощаясь навсегда.

Выйдя на площадку и свесившись над пролётом, Лобунин крикнул: «Есть кто –нибудь живой?» – и эхо, бесполезно обойдя этажи, возвестило о безлюдье; это был редкий случай, когда он пожалел об отсутствии соглядатаев. Публику, вероятно, можно было бы найти лишь в вестибюле отеля, и Лобунин решил попасть туда во что бы то ни стало; всё, что пришло ему в голову, это испробовать пути через чердак и подвал. Без особой надежды спустившись по лестнице, он, к своему удивлению, нашёл вход в подzemелье открытым и, опытный человек, усмотрел в этом неладное. Прежде чем войти, следовало подумать, как выйти: не ровен час, дверь захлопнулась бы или кто –нибудь запер бы её нарочно, а там и вода могла хлынуть с улицы в нечаянно разбитое им самим стекло под потолком – и, пошарив по карманам, Лобунин соорудил, что сумел, из скрепки и спичек.

Подвал, как и подобает, представлял собою анфиладу скучных помещений, служивших складами, раздевалками и мастерскими; пройдя их несколько, Лобунин попал в комнату, обставленную, словно дачная закусовая, дрянными пластиковыми столами с грязной посудой на них. Здесь его задержала, как задержала бы и почти всякого русского человека, находка едва початой бутылки – предмета, в его положении и состоянии необходимого. Его подмывало поспешить с добычей к себе, но он не смел унести чужое; с другой стороны, искать владельца не имело смысла – бутылка могла стоять здесь не первый день – и, собравшись двигаться дальше и уже нацелившись на боковую дверь, ведущую, по его вычислениям, в центральный подъезд, он сделал добрый глоток. Выпитое отдавало самогоном и мёдом, и он зауважал местных винокуров.

За дверь оказалась короткая лестница, выведшая его в ярко освещённый коридор, застеленный мягкой ковровой дорожкой и заканчивающийся справа зашторенным окном, а противоположным концом впадающий в вестибюль, куда и направился Лобунин, довольный тем, что шаги стали не слышны. Тотчас ему попала стеклянная стена бара, но за нею было темно и пусто; пусто оказалось и в вестибюле, куда Лобунин, предварительно изучив его в удачно повешенном зеркале, вышел с величайшею осторожностью, чтобы не попасться на глаза портю; но и того не было на месте, а на шкафчике с ключами и стеклянной витрине с вождёнными проспектами висели замки. Необычная тишина стояла в доме, и только откуда – то из дальнего угла доносились вялые голоса; там, в углу, нашлась винтовая лестница вниз, на круглую площадку, вместившую крохотное кафе: стойку и два треугольных столика, за которыми расположилась давешняя девичья стайка. Девушки были невеселы, и беседа их то ли угасала, то ли никак не могла начаться. Спустившись было на несколько ступенек, Лобунин вспомнил о деньгах, вернее – об их отсутствии. «Так оно и лучше, – утешил себя он. – Утро вечера мудренее».

Крадучись, он вернулся в подвал, где первым делом снова приложился к знакомой бутылке. За этим его и застала появившаяся на пороге девушка в лиловом платье до полу, тонкая ткань которого в полутьме выглядела мелкой кольчугой. Лобунин решил, что она подглядывала.

– Ваше здоровье, – нашёлся он.

– Э, да тут осталось, – удивилась она. – А я несу ещё.

– Не пропадёт, – нахально заверил смущённый Лобунин, косясь на новую этикетку и думая, что удачно выбрал время для своей вылазки. – Я без спросу отпил, простите. Без этого не обойтись было: настроение, прямо скажем... Хоть вешайся... Впрочем, у вас, видимо – топятся. Завтра получу по чеку и отдам.

– А, пустяки. Нам продают со скидкой.

– И вы в одиночестве попиваете. Занятно.

– Денег же вы, может случиться, не получите и завтра. Знаете ведь, как это бывает в банках: то ревизия, то бандиты. Да что вы так смотрите? Я шучу, шучу. В крайнем случае вам дадут талоны на еду, а их и в баре принимают, и девушке можно заплатить.

– Спасибо, что просветили.

– Ваше счастье, что напали на меня: из других тут слова и клещами не вытянешь.

Взяв с незамеченной им полки стопку бумажных стаканов, она налила Лобунину:

– Выпейте, не то у вас такой вид, будто вы замёрзли или обижены и вот – вот зарычите. Да постойте, у вас ведь собака была, правда? Мне такие вещи видны. Была ведь?

– Какое там... – почуяв подвох, махнул он рукой.

– Что ж, вы правы, жизнь здесь подлая, и лучше поменьше рассказывать о себе: всё будет обращено во вред.

Ему вдруг совершенно ясно представились библейские глаза Пса, смотревшие с укоризной; Лобунин подумал, что перед человеком чувствовал бы свою вину не так остро. Привыкнув говорить (обычные в таких случаях слова), что потратил на воспитание Пса часть собственной души, Лобунин всерьёз полагал, что тот в самом деле был как раз этой самой родимой частью, только живущей опричь. Разделённые, они должны были погибнуть – понятно, кто раньше, оттого что собачий век недолог, – и только сейчас, возбуждённый выпитой медовухой, Лобунин, прежде, как и любой нормальный человек, отгонявший мысли о смерти, вдруг сообразил, что должен бы, напротив, просить её приближения, потому что первым, встретившим его на небесах, будет Пёс.

– Мне бояться нечего, – ответил он девушке, – тем более – сплетен в чужом городе. Всё, что можно было, я уже напортил себе сам – и не здесь.

– Вам нужны лишние неприятности? Да и вылазка в подвал... Не вы первый находите эту дорогу. Лучше не рискуйте напрасно, а забирайте обе бутылки и возвращайтесь домой.

– Домой! Впрочем, окрестность меняет цвет в зависимости от количества выпитого. А местное зелье и само окрашено прелюбопытно – наверняка врачует раны, утешает в скорби, молодит и предохраняет от слеза, не так ли? Но я – то искал другого: хотел приобщиться к здешней ночной жизни. Жаль, не взял буклет – целая стопка лежала на стойке: надо же хотя бы по картинкам представить себе ваши значные места: казино в аквариумах, фантастические подводные бордели...

– Вы нас переоцениваете: воображения местных жителей достало лишь на устройство ночной бани. В десять часов город уже спит, чтобы не видеть воды.

– А у нас в эту пору только жизнь начинается, – с тоской вспомнил Лобунин, не веря, что и сам когда – нибудь примет здешний распорядок дня. – Кто идёт к женщине, кто – на большую дорогу, а кто – просто посидеть с друзьями. С друзьями – это чтобы не пить, как вы, в одиночку.

– Здесь выбора нет, так что ступайте, ступайте. Это всё же казённое помещение. Ничего хорошего вы тут не высидите.

Уязвлённый, Лобунин подумал, что мысль о месте встречи со своей собакой пришла ему в голову неспроста, и следует приготовиться ко всякому; но он слабо верил в такую скорость развития событий, чтобы ему в один приём перенестись на небеса – да ещё и неизвестно, на небеса ли.

– Хорошо, – наконец согласился он, с неохотой поднимаясь и прикидывая, нельзя ли попросить девушку обслужить его в кредит. – Чтобы подвести черту, не стоило из одного опустившегося города бежать в другой. Здесь, вижу, всё идёт, как у нас, а мы – то в простоте своей представляли, будто местные жители едва ли не ходят вниз головой, как в Австралии.

– Главное, пережить первую ночь.

Но именно она и страшила Лобунина, вообразившего, будто забежал слишком далеко на север и ночь протянется полгода; с другой стороны, все эти долгие шесть месяцев он был бы в безопасности.

– Первая ночь – это звучит...

– Сейчас светает рано, – сказала девушка, откидываясь на спинку стула и так вильнув при этом всем телом, что Лобунин на секунду усомнился в назначении её лиловой чешуйки. – Вы понимаете, что я имею в виду? И всё равно, ни одна собака вас не найдёт.

«В том – то и беда, – едва не сказал вслух Лобунин. – Он же маленький и не может без меня. Однако нужно взять себя в руки: ещё немного, и я стал бы исповедоваться перед проституткой».

Он снова, назло ей, уселся – на край стола. В этот момент погас свет.

– Посидите спокойно, – вздохнув, велела она, угадав его намерения, – не то поколотите чашки.

Слышно было, как она шарит на полке. Потом чиркнула спичка.

– Это часто бывает, – объяснила она, ставя на стол свечу. – Отсыревают провода.

– Как бы тут не заплесневеть. Да, послушайте, а как же колокола? Их что, совсем не слышать в окрестности? Из – под воды?

– Говорю же, светает рано, – уже не скрывая раздражения, ответила она. – Вы прямо как младенец. И деньги вам дадут завтра, а не через полгода.

– Да к чему тут... – раздражился и он. – Мне другое интересно: вечером – то, вечером случается, наверно, что народ не успеваешь разойтись из церкви? Так и молятся до утра? И людям ни поспать, ни присесть, и Господь обманывается их рвением?

– Вовсе даже и не Он может услышать молитву: никогда не знаешь, кто стоит рядом.

– И верно, мне боязно было бы молиться здесь... на людях.

«На русалках», – едва не сказал он.

– Вот и мне с ними совсем непросто, – согласилась девушка, испытующе глядя в глаза Лобунину. – Возьмите – ка вторую свечку.

Зыбкий огонёк в его руке не мог осветить углы, где теперь мерещилось самое неожиданное, и обратная дорога показалась Лобунину такой долгой, что он подумал, не заблудился ли. «Это тебе не крестный ход на Пасху», – сказал он себе, понимая, что никогда больше не пройдёт в полночь вокруг храма – если только безрассудно не вернётся к своему другу, возможно, ещё не поверившему в предательство хозяина; он уже не видел разницы в итоге – медленно пропадать поодиночке или неизбежно и самым странным образом скоро сгинуть вместе.

Комната приюта показалась Лобунину вполне уютной при свете свечи; тут в углах тоже скрывалось неожиданное, но такое, что живёт близ любого домашнего очага, не давая обитателям почувствовать себя одинокими. Глядя на живой огонёк, Лобунин не понимал человека, придумавшего электричество.

Девушка в витрине

В городах украшение витрин как действие занимает мало кого из торопящегося мимо народа; иное дело, если зеркальные плоскости, за которыми кто – то раскладывает подарки, сверкнут на фоне кудрявого сельского пейзажа – здесь остановится едва ли не любой прохожий, неважно, местный ли или из заезжих горожан. Так и один наш, наречённый будто бы Алексеем, случайный знакомец, успевший за сутки, проведённые на даче приятеля, приучить зрение к простым, в общем, предметам – сараям, лопатам, собакам и ботве, – задержал шаг перед внезапным после глухих заборов и зелёных канав окном универмага, а затем и вовсе застыл, когда там пошевелился манекен. Только постепенно обретя дар речи, Алексей ткнул в стекло пальцем и восхищённо воскликнул: «Тю! Как живая!» Босая девушка в джинсовом комбинезоне не отозвалась, хотя и в самом деле была живою, в отличие от двух соседок, вполне человекообразных, но по чьему – то изощрённому умыслу лишённых довольно важных принадлежностей, а именно – темечек; впечатление получалось такое, будто кто – то черпал компот, да потом забыл про крышки. Девушка выглядела прехорошенькой, и первым побуждением Алексея было подойти к ней с той стороны, из магазина, завести разговор, а там уже посмотреть, что из этого выйдет, но он вовремя сообразил, что для предполагаемых упражнений следует чувствовать себя в форме, его же сейчас смущала вечерняя нетвёрдость походки, а ещё более – рабочая, испачканная землёй и цементом одежда. Что ж, сегодня жизнь не кончалась: знакомый, которому он помогал давеча по хозяйству, звал приезжать и ещё, теперь уже просто в гости, и эту новую поездку Алексей как раз бы и мог использовать для того, чтобы завести приятное знакомство. Он не опасался снова принять девушку за манекен, хотя и не мог бы ответить, чем различаются их устройства, не снимается ли крышечка и у этой красотки – нельзя ли и у неё разжиться клубничным взваром. Окажись так, он не нашёл бы в самой придумке ничего диковинного, лишь поинтересовался бы способом исполнения; для этого стоило завтра зайти в больницу, поспрашивать, как они добиваются, чтобы вышло аккуратно – пилят или рубят? Если последнее – он знал добрый инструмент: тяжёлый нож с прямоугольным лезвием шириной с ладонь, секач.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.